Юрий Прокушев

Юрий Прокушев • Дом памяти народной

Вечно живые

Подвиг Пушкина

Прикованный сокол

Пушкин и Есенин

На расстоянии

Судьба поэта

Не уберегли!

«Сп-ва»

Факты
и только факты

Прекрасна земля
и на ней человек

Впереди-новые дали

Сердца-высоты

Сын России

Основоположник

Кремень
слеза



Юрий
Прокушев

Даль памяти народной

Москва. «Молодая гвардия». 1978

8РС
П80

Прокушев Ю. Л.

П80 Даль памяти народной. М., «Молодая гвардия», 1978.

272 с. с ил.

«Даль памяти народной» — новая книга известного критика и литературоведа, лауреата Государственной премии РСФСР Юрия Львовича Прокушева. В ней раздумья автора о вечном единстве — прошлого, настоящего, будущего — в истории нашей Родины и литературы, в современной жизни и литературном процессе. Автор анализирует с привлечением богатого, во многом ранее неизвестного фактического материала творчество Сергея Есенина, Ивана Никитина, Сергея Васильева, Василия Федорова, Егора Исаева, Ювана Шесталова. Большое место в книге занимают размышления и наблюдения о поэтическом мастерстве. Книга рассчитана на широкие круги читателей.

П $\frac{70202-231}{078(02)-78}$ Б3—105—026—77 8 РС

ОТ АВТОРА

Чем пристальнее мы вглядываемся в настоящее, чем настойчивее стремимся в будущее, тем неодолимее и явственнее встает перед нами наше прошлое, история Родины. Это прошлое бережно хранит в далях своей памяти народ: хранит в легендах и преданиях, былинах и летописях, в древних памятниках зодчества, в живописи и скульптуре, в слове писателей-классиков.

У выдающихся мастеров литературы, художников истинно народных, прошлое всегда связано с настоящим. Оно помогает выявить глубже в действительности то, что определяет ее суть, ее духовное богатство, что принадлежит в ней нашему завтра.

Классика прошлых веков — великий учитель жизни. Она современна в самом высоком смысле этого слова. Сегодня она для нас поистине неисчерпаемый источник чувства Родины и гражданственности, народности и гуманизма, доброты и сердечности.

Сквозь могучий кристалл поэзии прошлое возникает перед нами в яви, словно живое, настоящее и в «Слове о полку Игореве», и в одах Ломоносова, и в поэмах Пушкина, Лермонтова, Некрасова; возникает объемно, красочно, зримо.

Живая Россия эпохи Великого Октября, окрыленная духом свободы, борющаяся, сражающаяся, страдающая, побеждающая интервенцию, блокаду, разруху, голод, — открывается нам сегодня с особой впечатляющей силой в стихах и поэмах великих первопроходцев и зачинателей советской поэзии: в «Двенадцати» и «Скифах» Александра Блока, в «Ленине», «Хорошо!», «Во весь голос» Владимира Маяковского, «Песни о великом походе», «Руси Советской», «Анне Снегиной» Сергея Есенина.

Поэзия Октября, и прежде всего революционный эпос ее основоположников, позволяет и помогает ныне, особенно молодому поколению, полнее почувствовать, пережить сердцем и оценить по достоинству, умом все величие ратных и трудовых свершений нашего народа в первые годы советской эпохи, для судеб всего мира.

А поэмы Александра Твардовского: «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги», «За далью — даль»! Какие неоглядные исторические просторы в каждой из них открываются нам сегодня.

Неотделимо настоящее от памяти народной у выдающегося поэта современности Василия Федорова, особенно в лучших его поэмах «Проданная Венера» и «Седьмое небо».

Бери
Немаленькую мерку
Минувшему — всему тому,
Что было скроено по веку
И по народу моему.
Для трех,
Для двух,
Для одного
Обиженного человека
Есть память лет.
А память века —
Для человечества всего.

Поэмы Василия Федорова по праву можно смело отнести к тем очень современным поэмам, появившимся за последние пятнадцать-двадцать лет, которым предназначено их счастливой судьбой жить в памяти народной долгие, долгие годы.

«Даль памяти» — так «просто» и вместе с тем емко и точно назвал Егор Исаев свою новую поэму, опубликованную журналом «Москва» в 1976—1977 годах.

Егор Исаев — поэт редчайшего эпического дара. Он самобытен и неповторим во всем: и в жизни, и, главное, — в поэзии. Для него прошлое, настоящее, будущее всегда нерасторжимы и едины.

* * *

Раздумьям об этом вечном единстве — прошлого, настоящего, будущего — в истории нашей Родины и литературы, в современной жизни и литературном процессе наших дней посвящена прежде всего настоящая книга. Именно эти проблемы более других интересовали и волновали меня в последние годы, об этом я чаще всего размышлял в своих выступлениях в периодике. Теперь все это выстроилось в единую книгу. Ее составили работы, написанные мной в последнее время. Вот почему можно сказать, что она как бы рождена нашим временем.

Пушкинским годом в литературе справедливо был назван 1974 год. Во всем мире широко отмечалось 175-ле-

тие со дня рождения великого сына России — Александра Сергеевича Пушкина. Завершился 1974 год другой знаменательной датой — 150-летием со дня рождения великого русского поэта Ивана Саввича Никитина.

1975 год по праву стал годом Есенина. По всей стране отмечалось 80-летие великого поэта Советской России.

Нам счастливо довелось непосредственно участвовать в этих всенародных праздниках отечественной культуры: выступить со «Словом о Никитине» 1 октября 1974 года на торжественном вечере в Москве, в Колонном зале, а затем с писательской делегацией побывать на родине поэта, в Воронеже, вместе с другими членами юбилейной есенинской комиссии, готовить ряд знаменательных актов, посвященных 80-летию поэта, таких, как открытие памятника Есенину в Рязани, проведение литературных встреч на его родине — в селе Константинове, а 15 октября — произнести «Слово о Есенине» на торжественном вечере в Колонном зале.

Пожалуй, еще никогда так явственно, как в дни 80-летия, «на расстоянье», не проявлялась глубочайшая современность поэзии Сергея Есенина, органическая, внутренняя связь его творчества с прошлым, настоящим и будущим Родины. Об этом прежде всего идет речь в моих новых работах о Есенине, написанных в преддверии его 80-летия: «Судьба поэта», «Пушкин и Есенин», «Он — вы», «Прекрасная земля и на ней человек».

В декабре 1975 года писатели России собрались на свой очередной, IV съезд. Летом 1976 года в Большом Кремлевском дворце проходил VI съезд советских писателей. Всесоюзный писательский форум проходил вскоре после исторического XXV съезда КПСС, на котором творческий труд советских писателей, художественные достижения современной литературы получили высокую оценку партии и народа.

Ныне все очевидней, что выдающиеся успехи многонациональная советская литература одерживает сегодня на своем главном направлении, где ее настоящее неотделимо от традиций и наследия классики, где современность нацелена в наше коммунистическое завтра.

Юрий Прокушев

Так пусть же,
Пусть же
От верхов до устья
Не убывает памятью народ!

Егор Исаев

I

Вечно живые

ПОДВИГ ПУШКИНА

Пушкин принадлежит к числу тех творческих гениев, тех великих исторических натур, которые, работая для настоящего, приготовляют будущее...

В. Г. Белинский

Есть подвиги ратные, есть подвиги великих открытий — они связаны с минутами озарения, минутами наивысшего духовного, нравственного подъема. Но есть подвиги, внешне как бы скрытые, неброские, сначала в них даже трудно распознать и почувствовать нечто особое, героическое. И только когда человек, свершивший такой подвиг, уходит от нас, мы начинаем сознавать, что вся жизнь его была подвигом.

Такой подвиг в русской литературе, а точнее, в русской действительности, в русской общественной жизни XIX века совершил Пушкин. Вся жизнь поэта — это великий нравственный, гражданский, художественный подвиг. Всю жизнь поэт вызывал новаторски дерзкими, дотоле неизвестными русской литературе стихами и поэмами «огонь на себя»; всю жизнь вел бои за чистоту русского языка, за народность, национальную самобытность русской поэзии, за нравственную, духовную свободу русского общества; за то, чтобы человек был достоин своего высокого предназначения, чтобы все в нем было прекрасно и гармонично.

. . . .
Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.
. . . .

Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Словно набатный колокол, зазвучали эти призывные строки юного поэта над русской землей. В них были слышны могучие отзвуки радищевской оды «Вольность».

Но в них были и пушкинский свободолюбивый дух, и вера поэта в будущее человечества; в них были гнев и боль поэта за судьбы родной страны, задыхающейся в жестоких тисках самодержавия и крепостничества:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.

В этих строчках пушкинской «Деревни» — картина всей крепостнической России. Отсюда идут истоки скорбной и могучей музы «мести и печали» Некрасова. В «Деревне» берет свое начало грустная и пронзительная песня о горькой крестьянской доле, звучащая в стихах Кольцова и Никитина. Позднее Пушкин, его «Деревня» помогут зрелому Блоку за символической дымкой разглядеть серые, нищие деревенские избы России и услышать ее «ветровые» песни, а юному Есенину в канун революции за идиллическими картинами родной природы увидеть тяготы и тревоги крестьянской Руси.

Сегодня эти суровые, мужественные, полные любви к своему народу строки говорят нам прежде всего о великом гражданском подвиге поэта, чей «неподкупный голос» всегда звучал и будет звучать в веках, как «эхо русского народа»; они же — эти строки — живо напоминают нам о временах дворянско-помещичьего господства, которое для нашей страны, нашего народа в дни Великого Октября навсегда кануло в Лету.

«Друг человечества», «певец свободы» — так видится Пушкину, поэту и гражданину, его святая миссия:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Стихи как клятва! Они написаны кровью сердца. Стихи эти духовно и нравственно вооружали не одно поко-

ление русских революционеров. Свято следовали пушкинскому призыву декабристы. Духовно поэт был с ними, своими друзьями, на Сенатской площади.

Еще и еще раз хочется особо подчеркнуть, что Пушкин и как поэт, и как гражданин был всю жизнь верен свободолюбивым идеалам юности. История литературы, общественной мысли, революционной борьбы знает, к сожалению, примеры, когда светлые, свободолюбивые, юные порывы даже натур исключительных ломала гнусная, страшная действительность царской России.

Пушкин испытал все: и ссылку, и гнет цензуры, и клевету, и унижение, и шантаж, и доносы, и оскорбительное «пожалование» в камер-юнкеры. Ничто не могло сломить волю поэта, чей голос был голосом народа, начинающего верить в будущее России, в то, что ее темницы не вечны. Царизму оставалось одно — убить непокорного и гордого поэта, который своими свободолюбивыми стихами наводнил всю Россию. Чувствуя, понимая, что круг сужается, Пушкин и здесь ведет себя в высшей степени достойно и мужественно: «Я принадлежу стране и хочу, чтобы имя мое было незапятнанным везде, где оно известно». Так ответил поэт друзьям, которые советовали ему отказаться от дуэли с Дантесом.

Многое, очень многое должен свершить художник для своей Родины, своего народа, для других народов, чтобы иметь и моральное и гражданское право, подводя итог содеянному, итог жизни, так сказать о себе:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Великий Пушкин, как никто другой, имел это право. Пушкинский призыв:

Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы! —

был рожден и сердцем поэта, и временем. Ему следовали не только декабристы; этот призыв вдохновлял позднее на подвиг и революционных демократов 60—70-х годов, и славную когорту народовольцев восьмидесятых годов, и героев революционных баррикад пятого года, он был

глубоко созвучен ленинской мечте о России, освобожденной социалистической революцией.

Красноармейцы — герои гражданской войны, отстаивавшие в боях с интервентами «воспрянувшую ото сна» Россию, читали Пушкина под Перекопом и Волочаевкой. В дни Великой Отечественной войны с плакатов блокадного Ленинграда, с полос фронтовых газет волнующе и призывно звучали наполненные любовью к Отчизне, верой в ее будущее стихи Пушкина. Сегодняшнее молодое поколение Страны Советов, преображая Нечерноземье и покоряя космос, возводя в тайге города и прокладывая новые магистрали, с особой гордостью произносит как клятву на верность Советской Родине бессмертные, крылатые пушкинские строфы.

Судьба народа, судьба России, ее прошлое, настоящее, будущее — вот тема, к которой на протяжении всего своего творчества обращался Пушкин. В отечественной литературе он стал первым писателем, в творчестве которого русский народ впервые в своей истории столь полно и глубоко познал себя художественно. В «Полтаве», «Медном всаднике», «Борисе Годунове», «Капитанской дочке» и в других, ныне всемирно известных произведениях Пушкина, взяты самые ключевые и вместе с тем самые драматические моменты русской истории. Пушкина-художника они волнуют прежде всего потому, что через них стремился он найти выход в современность, глубже осмыслить и раскрыть конфликты и противоречия своей эпохи, заглянуть в будущее. В этом плане глубоко историчны и «Кавказский пленник», и «Цыганы», и «Бахчисарайский фонтан», и «Скупой рыцарь», и «Моцарт и Сальери», и «Пиковая дама», и «Повести Белкина», и, конечно же, бессмертный «Евгений Онегин».

Надо ли говорить, сколь велик вклад Пушкина в сокровищницу русского языка, как обогатил и смело расширил он его словарный запас, как яростно боролся за чистоту и народность русского литературного языка, за простоту и ясность художественного стиля!

«Прелесть нагой простоты, — писал Пушкин, — так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями...»

Простота Пушкина — это простота гения.

Сколько в известных каждому из нас строчках «Зим-

него вечера» пушкинской простоты, сколько истинной народности и любви к нашей русской природе, сколько нравственной чистоты и сыновнего преклонения перед русской женщиной-крестьянкой!

Из ссылки, из Михайловского, Пушкин писал брату: «Знаешь, мои занятия? До обеда пишу записки... вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!» Взяв алмазные россыпи народных сказок и легенд, поэт вернул их народу, обогатив новыми дивными гранями.

Есть глубокий внутренний смысл в том, что крепостная женщина няня Арина Родионовна и крепостной слуга Никита Козлов были близкими людьми Пушкина. Они более чем кто-либо выражали народную любовь к поэту.

Исторические приметы и черты эпохи и вместе с тем общечеловеческое, вечное в творчестве Пушкина глубоко очевидны. Все усилия Пушкина, вся его поэзия направлены на то, чтобы человек стал человеком. В этом ее нравственный пафос, в этом ее величайший гуманизм.

«Общий колорит поэзии Пушкина, и в особенности лирической, — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность... — писал в свое время Белинский. — Читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека».

Гений Пушкина могуч и всеобъемлющ. Для русской литературы XIX века богатейшее художественное наследие Пушкина стало великой стартовой площадкой. Нисколько не принижая художественного вклада в духовную жизнь народа, внесенного Лермонтовым, Гоголем, Толстым, Достоевским, мы должны сказать, что, помимо своего времени, своего таланта, все они «рождены» Пушкиным. И дело не только в том, что Пушкин щедро раздаривал интереснейшие сюжеты, замыслы, темы, как это было с Гоголем; что без пушкинских «Повестей Белкина» не было бы лермонтовской «Тамани», а без «Пиковой дамы» вряд ли бы Достоевский написал именно так «Преступление и наказание». Все это важно. Но главное — даже не эти видимые и невидимые нити творческих связей, не эти конкретные пушкинские импульсы. Главное, Пушкин первым заставил всех и каждого

взглянуть на творчество писателя, на литературу как на дело высочайшего общественного значения: первый столь открыто и ярко связал литературу с народной жизнью, с освободительным движением, с передовыми идеями своего времени.

Пушкин оказал могучее воздействие на русскую и мировую литературу XIX и XX веков.

В XX веке, начало которого в литературе было ознаменовано весьма шумным, оголтелым наступлением буржуазного модернизма на великие реалистические завоевания русской классической литературы, с одной стороны, и еще более оголтелым выступлением декадентов всех мастей против нового, революционного, пролетарского искусства — с другой, творчество Пушкина стало той великой художественной традицией, которая питала и «старый» критический реализм, и новое революционное искусство, рожденное Октябрем 1917 года.

Поэтам, которые стояли у колыбели советской литературы, именно Пушкин помогал освобождаться от модернистских веяний и увлечения модными «школами». Все они, включая и Блока, и Маяковского, и Есенина, шли к Пушкину, к его прекрасной простоте и ясности.

Пушкин — это океан поэзии.

Нет сегодня в нашей стране человека, который бы не читал стихи Пушкина на родном языке.

В наши дни сбывается, становится реальностью едва ли не самая сокровенная, самая, казалось бы, во времена Пушкина фантастически недосягаемая и вместе с тем самая великая мечта поэта, обращенная в грядущее — мечта о духовном богатстве, духовном единстве человечества:

Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

Как близки эти взволнованные строки нам, советским людям, и всем народам, которые все решительнее поворачивают планету Земля на орбиту Мира, Труда и Братства.

И так же, как мы сегодня, наши благодарные потомки будут стремиться вперед — к Пушкину, к неиссякаемым родникам его поэзии, олицетворяющей все прекрасное в человеке.

ПРИКОВАННЫЙ СОКОЛ

> Никитин еще не оценен в достаточной мере. Его оценка в будущем, и с течением времени его будут ценить более и более. Никитин переживет многих даже более крупных поэтов.
>
> Лев Толстой

«Продавая извозчикам овес и сено, я обдумывал прочитанные мною и поразившие меня строки, обдумывая их в грязной избе, нередко под крик и песни разгулявшихся мужиков. Сердце мое обливалось кровью от грязных сцен, но с помощью доброй воли я не развратил своей души. Найдя свободную минуту, я уходил в какой-нибудь отдаленный уголок моего дома. Там я знакомился с тем, что составляет гордость человечества, там я слагал скромный стих, просившийся у меня из сердца. Все написанное я скрывал, как преступление от всякого постороннего лица и с рассветом сжигал строки, над которыми я плакал во время бессонной ночи. С летами любовь к поэзии росла в моей груди, но вместе с нею росло и сомнение: есть ли во мне хотя искра дарования?..»

Чем больше было написано стихов, тем больше росло сомнение. И автор, а это был Иван Саввич Никитин, долго не решался послать их в какой-нибудь журнал или газету. Ему шел двадцать шестой год, когда он после мучительных колебаний и раздумий впервые отправил в «Воронежские губернские ведомости» два стихотворения, подписав их инициалами. Стихи не были напечатаны. Только через четыре года, в ноябре 1853 года, Никитин вновь посылает в ту же газету несколько стихотворений. Обращаясь к редактору «Губернских ведомостей», он писал: «Я — здешний мещанин. Не знаю, какая непостижимая сила влечет меня к искусству, в котором, может быть, я ничтожный ремесленник! Какая непонятная власть заставляет меня слагать задумчивую песнь в то время, когда горькая действительность окру-

жает жалкою прозою мое одинокое, незавидное существование!»

Вскоре одно из стихотворений Никитина было опубликовано. В предпосланной ему заметке говорилось: «Хотя помещение стихотворений... не входит в объем нашего издания, но, принимая во внимание, с одной стороны, неуверенность в своих силах молодого таланта, не решающегося обратиться со своей просьбой в редакцию какого-либо из наших журналов, а с другой стороны, отдавая должную справедливость замечательному дарованию автора... мы решаемся поместить одно из присланных им стихотворений, приветствуя нового воронежского поэта искренним желанием дальнейшего успеха на избранном им поприще». Этим стихотворением была знаменитая никитинская «Русь».

Под большим шатром
Голубых небес —
Вижу — даль степей
Зеленеется...
По степям в моря
Реки катятся,
И лежат пути
Во все стороны.

Стихи о Родине всегда вызывают чувство законной гордости. Они всегда современны. Более ста лет звучат в сердце нашего народа бессмертные строки никитинской «Руси»; они давно стали хрестоматийными, крылатыми. С особой силой они волнуют нас вместе со стихами Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Кольцова, Блока и Есенина, когда приходит время новых суровых испытаний. Вспомним годы Великой Отечественной войны! Как современно, с какой патриотической силой в это суровое время звучали никитинские стихи о России:

Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью.
Стать за честь твою
Против недруга.
За тебя в нужде
Сложить голову!

Страстный нравственный поиск, гражданский порыв, желание вырваться во что бы то ни стало из грязного мрака обывательски тупой, бесчеловечной действительности, которая окружала Никитина с детских лет; решительное неприятие и отрицание юным поэтом самодержавно-крепостнического рабства; вера вопреки всем жизненным тяготам и невзгодам в человеческий разум, в силы народа, в будущее своей Родины, — вот откуда и высочайшая требовательность Никитина к себе, своему творчеству, и высочайшее представление о роли и месте поэта в духовной, социальной жизни общества, вот откуда великая любовь Никитина — поэта и гражданина — к России.

* * *

В самую трудную пору, когда царизм, не останавливаясь ни перед чем, старался сохранить в России на долгие годы, если не навсегда, ночь крепостнического рабства; когда он, царизм, жестоко расправившись с декабристами и накинув на душу народа мертвую петлю николаевской реакции, пытался всеми силами вытравить и убить в сознании, в сердце народа свободолюбивые идеи Радищева, Пушкина, Белинского, — именно в этот исторический период народ сам выдвинул из глубин своей жизни поэтов — борцов за свободу, — чей голос был голосом самого народа.

Тогда-то и зазвучал на многострадальной земле Алексея Кольцова тревожный голос Ивана Никитина.

В истории отечественной литературы, в русской действительности XIX века Иван Саввич Никитин — бесспорно один из самобытнейше-неповторимых, глубоко национальных великих художников.

Творчество Никитина вобрало, впитало в себя очень много из того, что было истинно гуманного, истинно народного в русской поэзии от «Слова о полку Игореве» до Пушкина. Пушкин, Лермонтов, Кольцов, каждый по-своему, стали той высочайшей нравственной точкой «отсчета», с которой неодолимо и дерзко поднялся к вершинам духовной свободы, преодолевая огромные нравственные перегрузки действительности, могучий и прекрасный сокол русской поэзии, каким был и останется для нас Иван Саввич Никитин.

Никитин совершил настоящий подвиг в художественном познании действительности своей эпохи. Он «прозрел» в ней главное, не только гнет, который веками испытывали от своих господ-поработителей народы России, но и выразил свободолюбивый дух народа. Поэт убежден, что настало время действовать, наступил час борьбы:

Медленно движется время, —
Веруй, надейся и жди...
Зрей, наше юное племя!
Путь твой широк впереди.
Молнии нас осветили,
Мы на распутье стоим...
Мертвые в мире почили,
Дело настало живым...

Рыхлая почва готова,
Сейте, покуда весна;
Доброго дела и слова
Не пропадут семена.
Где мы и как их добыли —
Внукам отчет отдадим...
Мертвые в мире почили,
Дело настало живым.

Заметим, что строки «Молнии нас осветили, мы на распутье стоим...» в рукописи имеют другую, еще более призывную редакцию:

Молнии путь осветили,
Зарево видно сквозь дым.

Революционная направленность этих строк очевидна. Поэт вынужден был изменить их в силу цензурных условий. Напечатанное впервые в 1858 году под названием «Песня», стихотворение «Медленно движется время...» становится одним из любимых и популярнейших среди революционно настроенной интеллигенции и студенчества. Со временем оно приобретает широкую известность в народе и исполняется как песня на мотив «Смело, товарищи, в ногу».

В годы, когда формируется талант, мировоззрение Никитина, все очевидней выявляется могучая, революционизирующая энергия, заложенная в русской реалистической литературе; роль этой литературы в развер-

нувшейся борьбе революционно-демократических сил России против самодержавия и крепостничества.

Никитин вопреки чуждым идейно-эстетическим влияниям сторонников «чистого искусства», вопреки попытке некоторых местных и столичных «покровителей», особенно в начале творческого пути поэта, противопоставить его стихи некрасовским, объективно выступает на стороне революционно-демократических сил, как единодум и надежный союзник Некрасова.

* * *

Никитин как поэт чужд ложной романтики, ложного пафоса, чужд пустых риторических «охов» и «ахов» о Родине. «Россия», «Русь» для него слова великие, святые. Он никогда не произносит их всуе, никогда не злоупотребляет ими в своих стихах. А если уж он заговорит о Родине, то строки его стихов наполняются истинно сыновней любовью:

Глядишь вокруг — и на душе легко,
И зреет мысль так вольно, широко,
И сладко песнь в честь родины поется,
И кровь кипит, и сердце гордо бьется,
И с радостью внимаешь звуку слов:
«Я Руси сын! Здесь край моих отцов!»

Образ Родины, России раскрывается Никитиным довольно часто как бы изнутри, аллегорично. Таков один из его глубоко народных образов — образ прикованного сокола в стихотворении «Хозяин»:

На старом кургане, в широкой степи,
Прикованный сокол сидит на цепи,
Сидит он уж тысячу лет,
Все нет ему воли и нет!
И грудь он когтями с досады терзает,
И каплями кровь из груди вытекает.
Летят в синеве облака,
А степь широка, широка...

Прикованный сокол — это Родина поэта — могучая, народная, трудовая Россия, опутанная цепями самодержавного деспотизма. В канун тысячелетия России такие стихи звучали символически.

О Никитине в прошлом чаще всего писалось и говорилось как о «певце грусти и печали». Да и в наши дни, к сожалению, внимание нередко акцентируется на этой мысли. И куда реже говорится о Никитине-поэте, который не только с болью и печалью писал об окружающей его действительности, но и страстно выступал против рабства, гнета и нищеты и в лучших своих гражданских стихах вслед за Некрасовым и Чернышевским призывал народ к борьбе против своих поработителей и тиранов, призывал крестьянскую Русь «к топору», к возмездию...

По мере подъема революционно-освободительного движения этот призыв все сильнее звучит в стихах Никитина.

Очевиден бунтарский пафос уже одного из его ранних стихотворений «Мщение», в котором крестьянин-бедняк убивает ненавистного ему помещика и поджигает барскую усадьбу. И конечно, далеко не случайно царская цензура запретила публикацию «Мщения».

С особой силой и гневный протест против рабства, покорности судьбы, и революционный призыв к борьбе звучат в стихах Никитина, относящихся к 1857—1861 годам, также запрещенных царской цензурой. Это стихи: «Постыдно гибнет наше время!..», «Тяжкий крест несем мы, братья...» и особенно — «Падет презренное тиранство...». Первое стихотворение очень созвучно с лермонтовским «Печально я гляжу на наше поколенье...». Оно под стать ему по своему гневному пафосу, по своей трагической обнаженности, по точности и беспощадности слова:

Постыдно гибнет наше время!..
Наследство дедов и отцов —
Послушно носит наше племя
Оковы тяжкие рабов...
И мы молчим. И гибнет время...
Нас не пугает стыд цепей —
И цепи носит наше племя,
И молится за палачей...

Всего двенадцать строк в стихотворении «Тяжкий крест несем мы, братья...», а перед нами встает Россия, веками скованная цепями самодержавного и крепостнического рабства. Вот эти строки:

Тяжкий крест несем мы, братья,
Мысль убита, рот зажат.
В глубине души проклятья,
Слезы на сердце кипят.
Русь под гнетом, Русь болеет;
Гражданин в тоске немой —
Явно плакать он не смеет,
Сын об матери больной!
Нет в тебе добра и мира,
Царство скорби и цепей,
Царство взяток и мундира,
Царство палок и плетей.

Эти стихи Никитина близки и созвучны гражданским стихам: и великих его предшественников — Пушкина и Лермонтова, и поэзии его великого современника — Некрасова, от него — этого стихотворения — прямой путь к таким стихам Александра Блока, как «Коршун»:

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг, —
В избушке мать над сыном тужит:
«На хлеба, на, на грудь соси,
Расти, покорствуй, крест неси».
Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты все та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней, —
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

Русь под гнетом. Но в глубине ее, как в недрах могучего вулкана, кипит и бурлит народный гнев и ненависть. Вулкан этот взрывается то бунтарством Степана Разина, то раскаленной лавой восстания Пугачева. Никитин всем сердцем, всей душой улавливает эти могучие подземные толчки и взрывы народного возмездия. Поэт верит:

Падет презренное тиранство,
И цепи с пахарей спадут,
И ты, изнеженное барство,
Возьмешься нехотя за труд...
Уж всходит солнце земледельца!..
Забитый, он на месть не скор;
Но знай: на своего владельца
Давно уж точит он топор...

Конечно, было бы неверно думать и пытаться утверждать, что Никитин всегда, каждый час, каждый день своей жизни был одухотворен и «заряжен» на борьбу со злом и несправедливостью. Нет! Поэт знавал и испытал минуты отчаянного одиночества, когда ты и «другим не нужен, и себе-то в тягость». Были минуты, когда казалось, что нет выхода из этого тяжелейшего, замкнутого круга жизни, что впереди — все безнадежно темно, что много пустой либеральной болтовни о «тяготах народных», но мало действия, истинного гнева, протеста:

Убита совесть, умер стыд,
И ложь во тьме царит свободно;
Никто позора не казнит,
Никто не плачет всенародно!..
Меж нами мучеников нет,
На крик: «Спасите!» — нет ответа!..
Не выйдем мы на божий свет:
Наш рабский дух боится света!

Такие стихи — горькое, но необходимое лекарство. Они пробуждали совесть, они заставляли наиболее честных и мужественных людей России думать, действовать, подниматься на борьбу. Кто-то должен был сказать эту страшную правду, кто-то должен был первым отозваться на крик «Спасите!» и ответить на него громко, ответить так, чтобы услышала вся Россия:

Наш разумный порыв,
Нашу честную речь
Надо в кровь претворить,
Надо плотью облечь.

Даже в обычном пейзаже, который рисовал поэт, чувствовался огромный и до предела напряженный мир страстей и ожиданий, мир предчувствий и торжества. Весьма примечательно, что из всех состояний, всех картин природы более всего поэта радует весна, радует гроза и буря, радует солнце — великий художник природы.

У Никитина почти нет чисто идиллических картин природы. Он прекрасно раскрывает и передает, если так можно сказать, диалектику души природы. Более того, его природа спаяна с человеком, она в постоянном и живом единстве с ним. Читая многие стихи Никитина

о природе, все время чувствуешь, что это и о природе, и еще больше о человеке, его судьбе.

Человек и природа. Эта тема — извечная тревога, извечная радость, извечная боль поэзии. Природа, как красота жизни, как колыбель каждого человека, как Родина, родная мать-земля, как любил говорить и писать Иван Никитин.

Сегодня природа и человек — одна из самых острейших тем современной мировой литературы. Ее по-разному решают и разрабатывают художники и старого, буржуазного, и нового, социалистического, мира. И в этом плане стихи Никитина о природе, его постоянные раздумья, размышления о природе и человеке глубоко современны.

* * *

После первых печатных выступлений, после выхода в 1856 году сборника стихов талант Никитина развивается бурно, стремительно, в высшей степени плодотворно. За семь лет (с 1854 по 1861) поэт написал более ста сорока стихотворений.

Этапными в творчестве Никитина стали его поэмы «Кулак» и «Тарас». Первая из них по праву может считаться одной из лучших — в русской поэзии XIX века. «Кулак» — произведение эпического масштаба и огромного социального звучания. В этой поэме впервые с такой впечатляющей силой, столь обнаженно и открыто, по существу, с позиций революционно-демократических поставлена была проблема, которая со времен Пушкина все более и более становилась главной в русской литературе: судьба человеческая, судьба народная. Едва ли не первым Никитин заговорил в стихах о страшной, безысходной, трагической судьбе таких огромных социальных слоев России, как городская беднота. Вместе с тем он как бы дает в поэме социальную картину жизни городов России в пору, когда развертывается процесс буржуазного первонакопительства. Примечателен и поучителен в этом отношении новый и необычный для русской поэзии того периода образ барышника, торгаша-перекупщика Лукича, нарисованный яркими, реалистическими красками Никитиным в его поэме «Кулак».

Кроме Лукича, всех скобеевых и таракановых, Никитин словно прожектором «выхватывает» из темного царства купеческо-мещанской России такие яркие народные характеры, как Арина — жена Лукича, и Саша — его дочь. Нелегка их судьба, но главное, что они вопреки всем превратностям жизни сохраняют высокие нравственные, общечеловеческие черты. Видит ли Никитин силы, которые способны разбить, порвать цепи рабства, видит ли людей, которые уже сегодня ведут себя независимо и смело, ибо чувствуют свою правоту, свою историческую принадлежность к будущему России? Видит! И не только видит, но и воплощает их как художник в неповторимые характеры. В поэме — это прежде всего столяр Василий. Светлой, одухотворенной мечтой о будущем России завершает Никитин поэму:

Придет ли, наконец, пора,
Когда блеснут лучи рассвета;
Когда зародыши добра
На почве, солнцем разогретой,
Взойдут, созреют в свой черед
И принесут сторичный плод;
Когда минет проказа века
И воцарится честный труд;
Когда увидим человека —
Добра божественный сосуд...

По тому, что пришлось лично пережить и перенести Никитину, по горькой печали и гневному пафосу его поэзии, по глубинным, органическим связям поэта с народной жизнью он, Никитин, заставляет вспомнить великого украинского поэта Тараса Шевченко, его судьбу, его стихи.

* * *

О месте Никитина как поэта в литературно-общественной жизни России, истории революционно-освободительного движения говорит нам лучше многих других фактов та «борьба за Никитина», которая развернулась буквально с первых печатных выступлений поэта между сторонниками «чистого искусства» и официальной народности, с одной стороны, и революционно-демократическими силами, и прежде всего «Современником» Чернышевского, Добролюбова и Некрасова — с другой.

В этой борьбе главное слово сказал сам Никитин, который в своем творчестве, преодолевая наносные, чуждые влияния, утверждался, все больше и больше объективно, как поэт революционной демократии. Принципиальная, заинтересованная критика «Современником» первого сборника Никитина, его ранних стихов помогла поэту в быстрейшем становлении его реалистической поэзии, усилении и углублении социальных мотивов в его творчестве. Но еще более важно другое, именно «Современник» был тем печатным органом, который горячо поддержал и верно определил главный пафос «программной» поэмы Никитина «Кулак»; наконец, «Современник» устами Добролюбова высказал мысли о творчестве Никитина, которые оказались пророческими: «Нам нужен был бы теперь поэт, который бы с красотою Пушкина и силою Лермонтова умел продолжить и расширить реальную, здоровую сторону стихотворений Кольцова... Вот почему остановились мы довольно долго и на стихотворениях г. Никитина...»

* * *

Особенно близки и дороги нам сегодня те произведения Никитина, где он одним из первых в русской и мировой поэзии, вместе с Некрасовым и Кольцовым совершает великое художественное открытие: создает вдохновенные, крылатые образы людей труда — это и столяр — рабочий человек Василий из поэмы «Кулак», и особенно образ Тараса из поэмы «Тарас».

К этим прекрасным образам непосредственно примыкает образ разночинца-демократа Яблочкина из никитинского «Дневника семинариста», единственного прозаического произведения поэта, повести глубоко реалистической, к сожалению, до сих пор недостаточно оцененной.

Вслед за героями Никитина придут в литературу бессмертные герои некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо?». И вместе с «новыми людьми» — героями Чернышевского все они встанут на путь непримиримой борьбы с царизмом.

Некрасов, Кольцов, Никитин... Хочется этих трех богатырей русской поэзии сравнить с романтической пти-

цей-тройкой гоголевской Руси. Велика поэтическая сила, поэтическая энергия, поэтическая дерзость каждого из трех поэтов, неудержимо летит по миру их вольнолюбивое, богатырское поэтическое слово.

Полны глубочайшего смысла и проницательности слова Льва Толстого о поэзии Никитина, сказанные великим русским писателем в конце XIX века: «Никитин еще не оценен в достаточной мере. Его оценка в будущем, и с течением времени его будут ценить более и более. Никитин переживет многих даже более крупных поэтов».

В 1917 году, идя на последний, решительный штурм самодержавия, восставший народ, ведомый партией Ленина, справедливо признал в Никитине одного из стойких певцов свободы, писателя глубоко народного, утвердив его как выдающегося поэта и гражданина в семье равенства и многонационального единства народов молодой Советской Республики.

Имеет особенно глубокий внутренний смысл знаменательный исторический факт: в августе 1918 года за подписью В. И. Ленина было принято постановление Совета Народных Комиссаров об установлении памятников великим деятелям социализма, революции, ученым и философам, писателям, художникам, композиторам.

Среди имен великих русских писателей было названо и имя Ивана Саввича Никитина. В первую годовщину Октябрьской революции в Москве в торжественной обстановке был открыт временный памятник Никитину.

Ныне, когда в нашей стране уже давно воцарился честный, свободный труд, о котором так мечтал Никитин, когда советский народ творит социалистическую новь по великому закону Коммунистической партии: «Все для человека, все во имя человека»; когда, как отмечал Леонид Ильич Брежнев в докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик»: «Мы можем с полным основанием говорить о более широком понятии, о большом патриотическом чувстве всего нашего народа — об общенациональной гордости советского человека», — Никитин, его поэзия, его гражданский облик нам особенно близки и дороги.

Он по праву наш великий современник.

ПУШКИН И ЕСЕНИН

Пушкин — самый любимый мною поэт. С каждым годом я воспринимаю его все больше и больше как гения страны, в которой я живу.

С. Есенин

Июнь 1924 года. Москва. Тверской бульвар. Памятник Пушкину. Живые цветы. Взволнованные, одухотворенные лица. И стихи, обращенные к великому поэту, его светлой памяти:

И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.

Стихи звучат юношески молодо, восторженно и вместе с тем исповедально, мудро, почти пророчески:

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Все, кто слушал эти строки, на какое-то мгновение замерли в напряжении. А тот, кто их читал, после долгой паузы, словно вглядываясь в будущее, обращается теперь уже не только к Пушкину, но и ко всем, кого видит и не видит перед собой, к своим современникам и потомкам:

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

«Это было 6 июня... в памятный для литературной Москвы пушкинский день, — вспоминал И. Н. Розанов. — Сто двадцать пять лет со дня рождения Пушкина. Все писатели приглашались к 6 ч. вечера к Дому Герцена на Тверском бульваре. Оттуда, выстроившись рядами, со знаменем во главе, торжественно двинулись

к памятнику Пушкину, где должно было происходить возложение венка...

У памятника великому поэту речей не произносилось... Слово было предоставлено поэтам для произнесения стихов. Первым на ступенях пьедестала, возле только что возложенного венка... появилась фигура Есенина. Он был без шляпы. Льняные кудри резко выделяли его из окружающих. Сильно размахивая руками и выкрикивая строчки, он прочел свое обращение «К Пушкину». Впервые прозвучало стихотворение, известное теперь всем и каждому».

Тогда же, в июне 1924 года, в одном из московских журналов была напечатана есенинская анкета о Пушкине. Отвечая в ней на вопрос: «Как вы теперь воспринимаете Пушкина?» — Есенин писал: «С каждым годом я воспринимаю его все больше и больше как гения страны, в которой я живу. Даже его ошибки, как, например, характеристика Мазепы, мне приятны, потому что это есть общее осознание русской истории». И далее: «Постичь Пушкина — это уже нужно иметь талант. Думаю, что только сейчас мы начинаем осознавать стиль его словесной походки».

И еще: в том же месяце в автобиографии, говоря об Америке и будущем своей Родины, Есенин с гордостью называет имя Пушкина среди имен своих великих соотечественников, которые духовно, нравственно выражали и олицетворяли собой не только настоящее и прошлое, но и завтрашний день России.

«Если сегодня держат курс на Америку, — писал Есенин, — то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба немного вросла в землю, прясло, из прясла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это не то что небоскребы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др.».

В воспоминаниях о Есенине современники поэта неоднократно отмечают, что он «с особым преклонением относился к Пушкину, — как, например, писал И. И. Старцев. — Из стихов Пушкина любил декламировать «Деревню» и особенно «Роняет лес багряный свой убор».

— Видишь, как он! — добавлял всегда после чтения и щелкал от восторга пальцами».

«У Есенина была исключительная память. Он помнил... не меньше половины стихов Пушкина», — вспоминает Г. Устинов. Он знал их с юношеских лет, более того, с детства, слышал их в колыбели. Сестра поэта Александра Александровна Есенина, рассказывая о матери — Татьяне Федоровне, подчеркивает, что «с младенческих лет мы слышали от нее прекрасные сказки, которые она рассказывала нам артистически, а подрастая, узнавали, что песни, которые она пела, зачастую были переложенные на музыку стихи Пушкина, Лермонтова, Никитина и других поэтов».

С каждым годом своей яркой и неповторимой жизни Есенин все ближе и ближе подходил к Пушкину.

«Читай побольше Пушкина. Это наш учитель. Я ведь тоже когда-то шел не той дорогой. Теперь же я вижу, что Пушкин — вот истинно русская душа, вот где вершины поэзии», — взволнованно наставляет Есенин одного из своих товарищей, увлекавшегося Надсоном.

В конце жизни в автобиографии «О себе», написанной в октябре 1925 года, Есенин вновь подчеркивает: «...в смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину».

Пушкин — это сама жизнь, ее светлое, солнечное начало. И эта «живая жизнь» всегда бьет ключом у памятника великому поэту: всегда здесь люди, друзья его стихов, и молодые и старые, их окрыленный взор и радостно светел и задумчиво печален; их разноязыкая речь то ораторски торжественна, то доверительно задумчива...

В тот хмурый декабрьский день 1925 года у памятника Пушкину впервые стояла необычная, мертвая тишина! В какое-то мгновенье страшную, мучительную тишину разорвала, расколола рыдающая мелодия.

От Никитских ворот к памятнику медленно приближалась траурная процессия. Москва, а вместе с ней вся Россия провожали в последний путь поэта, который сквозь бури и грозы своего века сумел пронести достойно и мужественно святое пушкинское знамя поэзии и который еще совсем недавно здесь, у памятника, читал стихи, обращенные к великому поэту, мечтая о бронзовом бессмертии своих стихов.

И вот эта последняя встреча, последняя из земных, встреча Есенина с Пушкиным — встреча-прощание двух великих сынов России на пороге бессмертия и вечности. Траурная процессия подошла к памятнику.

«Перед тем как отнести Есенина на Ваганьковское кладбище, — рассказывает писатель Юрий Либединский, — мы обнесли гроб с телом его вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали, — это был достойный преемник пушкинской славы».

Достойный преемник Пушкина... Ныне эта истина становится все очевидней.

«Все, что связано с именем Сергея Александровича Есенина, дорого нам, — справедливо отмечал С. Т. Коненков, — это наша общенациональная святыня. Думая о солнечном даре Пушкина, я невольно прихожу в мыслях к Есенину. Он был великим патриотом и звонкозвучным певцом народа...»

«Есенин читал мне «Пугачева», — вспоминал Всеволод Мейерхольд, — и я почувствовал какую-то близость «Пугачева» с пушкинскими кратко-драматическими произведениями».

Казалось, все говорит за то, что тему «Пушкин и Есенин» должны были уже давно глубоко и обстоятельно исследовать наша литературоведческая наука и критика. К сожалению, в действительности дело обстоит иначе. Сотни книг, тысячи статей посвящены Пушкину, его жизни, творчеству, литературным связям. Более полутора тысяч статей, несколько десятков книг включает в себя последний библиографический справочник «С. А. Есенин». И в этом море литературы всего лишь две-три небольшие статьи, затрагивающие тему «Пушкин и Есенин». Монографических работ, исследующих эту важную тему, к сожалению, не существует.

* * *

В 1814 году в «Вестнике Европы» за подписью «Александр Н. к.ш.п.» впервые было напечатано стихотворение Пушкина — «К другу стихотворцу».

Ровно через сто лет, в 1914 году, в журнале «Мирок» за подписью Аристон было впервые напечатано стихотворение Есенина «Береза».

Эти сто лет в русской поэзии по праву могут быть названы эпохой Пушкина. Могучий, всеобъемлющий пушкинский гений оказал решающее влияние на стремительный взлет поэзии XIX века.

Лермонтов, Некрасов, Кольцов, Никитин, Тютчев, Майков, Фет... Всем своим творчеством, жизнью и прежде всего своими новаторскими, глубоко национальными произведениями именно Пушкин проложил для них главные вехи на пути к высотам русской и мировой поэзии. Конечно, каждый из блистательной плеяды поэтов XIX века был рожден своим временем, каждый был самобытен и талантлив, и вместе с тем каждый, несмотря на свои личные художественные пристрастия, испытал на себе, на своем творчестве огромное воздействие Пушкина, его реалистической поэзии, каждый в конечном итоге в своих стихах стремился к вершинам «нагой» пушкинской простоты.

В конце XIX и особенно в начале XX века кое-кто поспешил заявить, будто реализм в поэзии себя исчерпал и будущее не за ним, а за символизмом. Нашлись даже «теоретики» и горячие головы, готовые сбросить с «парохода современности» Пушкина, Толстого и Достоевского...

Именно в это время вслед за «Березой» появляются в печати «свежие, чистые, голосистые», «удивительно сердечные» и «размашистые» стихи Сергея Есенина. Мог ли тогда, в 1914 году, кто-либо предположить, что в лице неизвестного автора, скрывавшегося под псевдонимом Аристон, в русскую поэзию XX века пришел человек, которому суждено было стать достойным преемником пушкинской славы. Поэт, который в пору становления нового, революционного искусства одним из первых сумел решительно повернуть свой взор к наследию и традициям русской классической поэзии и вместе с великими первопроходцами советской поэзии Владимиром Маяковским и Александром Блоком смело двинуться по пути реализма, народности, гражданственности вперед — к Пушкину.

Разговор о первых печатных выступлениях Пушкина и Есенина не случаен. Дело в том, что дистанция, разделяющая во времени этих поэтов, и в социально-классовом и в лично-бытовом плане исторически велика. Ве-

лика настолько, что сначала даже кажется, будто у Пушкина и Есенина нет и не может быть каких-либо значительных внешних и внутренних точек касания, нет прямой связи — биографической и творческой. Однако если пристальнее посмотреть в лицо объективным фактам, отбросив при этом старые, превратные представления и «легенды», то мы увидим, что в судьбе поэтов, их детстве, юности, первых литературных шагах, в их программных произведениях и, самое главное, в истинно глобальном художественном познании каждым из поэтов своей эпохи, своего народа есть удивительно много общего, примечательного, того, что поможет более наглядно проявить нерасторжимое единство и духовную взаимосвязь гениального основоположника новой русской литературы — великого Пушкина и одного из прекраснейших поэтов XX века, великого Есенина; и это дает возможность более полно выявить и представить конкретно роль и место каждого из поэтов как в истории отечественной и мировой литературы, так и в истории революционно-освободительного движения и общественной мысли в России.

Детство Пушкина. Детство Есенина.

Дворянский сын. Крестьянский сын.

Подмосковное имение Марии Алексеевны Ганнибал — бабушки Пушкина по матери, которая более других занималась воспитанием своего внука.

Деревенская хата на Рязанщине, где провела свою жизнь Наталия Евтеевна Титова — бабушка Есенина по матери, более других опекавшая своего внука в детстве.

Домашняя библиотека Пушкиных в Москве. Сотни книг на русском и иностранных языках. Их с увлечением читает юный Пушкин.

Библия да несколько других старинных церковных книг в избе Федора Андреевича Титова — деда Есенина. По этим книгам в пять лет выучился читать будущий поэт.

Прославленный Царскосельский лицей, в стенах которого шесть лет провел Пушкин.

Затерявшаяся в Мещерских лесах церковно-учительская школа, где три года провел Есенин. Затем полтора года занятий в Московском народном университете.

У каждого из поэтов свое неповторимое детство и отрочество. Но было в этом детстве и отрочестве и другое, едва ли не главное, основополагающее: встреча с Родиной — с родной землей, родным небом, с родной русской природой, русской народной песней, сказкой и вместе с тем русской народной болью, с тяжелой, бесправной долей крестьянина-труженика, с диким, самодержавным рабством.

Вспомним пушкинскую «Деревню», написанную юным поэтом:

Приветствую тебя, пустынный уголок.
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...
. . . .
Я твой: я променял порочный двор цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей...

Но видит поэт на родной земле и «ужасное», что омрачает его душу:

Здесь *барство* дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.

Вспомним теперь есенинскую «Русь», написанную рязанским поэтом в юные годы:

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно, на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.
. . . .
Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что — разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

И совершенно иной в той же «Руси» видится молодому поэту его «родина кроткая» в годину обрушившихся на нее тяжелейших военных невзгод, которые унесли жизни миллионов мирных русских пахарей:

Затомилась деревня невесточкой —
Как-то милые в дальнем краю?
Отчего не уведомят весточкой, —
Не погибли ли в жарком бою?
. . . .

Сберегли по ним пахари памятку,
С потом вывели всем по письму.
Подхватили тут родные грамотку,
За ветловую сели тесьму.

. . . .

Они верили в эти каракули,
Выводимые с тяжким трудом,
И от счастья и радости плакали,
Как в засуху над первым дождем.

Любовь к Родине томила, мучила, жгла чистые, отзывчивые души Пушкина и Есенина. Она вдохновляла и питала по-своему музу каждого из поэтов.

Но и в дали, в краю чужом
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду под сенью лип домашней.

А Есенин! Куда бы поэта ни забрасывала судьба, где бы он ни был, вновь и вновь вспоминается ему родное село, отцовский «низкий дом с голубыми ставнями» и необъятный простор родных рязанских раздолий:

Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.

Когда, обращаясь к Пушкину и Есенину, мы идем в глубь их творчества, их жизни, то счастливо открываем и отмечаем наличие важных и примечательных внутренних связей и точек «пересечения» двух поэтов, начиная с их детства и юности.

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали, —

скажет Пушкин, вспоминая в стихотворении «19 октября» годы своего детства.

Родился я с песнями в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали, —

напишет о себе, своем детстве Есенин в стихотворении «Матушка в Купальницу по лесу ходила...».

И у Пушкина и у Есенина рано пробудилась страсть к чтению, книгам. Брат поэта, Лев Сергеевич Пушкин, вспоминает, что за чтением Пушкин «проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другой». Книги всегда были добрыми и верными спутниками поэта. В последние минуты жизни Пушкин окинул печальным, грустным взором свои книги и тихо произнес: «Прощайте, друзья».

С детства Есенин как бы следовал мудрому пушкинскому афоризму о чтении — лучшем учении. Все его сверстники единодушно признают, что уже в школьные годы он был заядлый книголюб и его всегда можно было видеть с какой-нибудь книгой. Когда летом 1911 года шестнадцатилетний Есенин впервые ненадолго приехал в Москву к отцу, то, возвращаясь, вез с собой в деревню более двадцати книг, купленных в городе. Он зачитывался стихами Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Некрасова, знал на память почти целиком «Слово о полку Игореве». Поэт Николай Полетаев рассказывает о встрече с Есениным в 1918 году:

«Говорили мы с ним о литературе. Я спросил его, чем он сейчас больше всего интересуется. «Изучаю Гоголя. Это что-то изумительное!» Есенин даже приостановился, а потом неподражаемо прочел несколько гоголевских фраз из описаний природы...

— Предо мной, — замечает Полетаев, — вырос человек, до самозабвенья любящий красоту русского слова».

И Пушкин и Есенин рано начали писать стихи. Пушкину едва исполнилось восемь лет, когда он «сочинил» их впервые.

В дошедшем до нас самом раннем стихотворении Пушкина «К Наталье», написанном поэтом в четырнадцать лет, возникает волнующий образ крепостной актрисы домашнего театра в Царском Селе. Целомудренно чиста любовь-мечта юного героя этого стихотворения:

Ночь придет — и лишь тебя
Вижу я в пустом мечтаньи,
Вижу, в легком одеяньи
Будто милая со мной;

Робко, сладостно дыханье,
Белой груди колебанье,
Снег затмившей белизной...

В Царском Селе Пушкин пережил свою первую юношескую любовь к сестре лицейского приятеля — Е. П. Бакуниной. Ей он посвятил несколько ранних лирических произведений. Среди них и одно из лучших лицейских стихотворений, «Певец»:

Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой
Слыхали ль вы?

Стихи, подражания частушкам, начал «слагать» с восьми лет Сергей Есенин.

Романтической, окрыленной мечтой о любви к девушке-крестьянке наполнено одно из самых ранних стихотворений Есенина, «Выткался на озере алый свет зари...», написанное пятнадцатилетним поэтом:

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звоном плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло.

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.
. . . .

И пускай со звонами плачут глухари,
Есть тоска веселая в алостях зари.

Еще до отъезда во второклассную школу Есенин подружился с сестрой своего товарища Анной Сардановской. Ей он посвятил стихотворения: «Зачем зовешь...», относящееся к 1911—1912 годам, и «За горами, за желтыми до́лами...», опубликованное впервые в 1916 году:

За горами, за желтыми до́лами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее полымя,
И обвитый крапивой плетень.
. . . .

Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.

Сквозь светлую дымку почти неземной, юношески порывистой и трепетной первой любви в ранних стихах и Пушкина и Есенина возникают реальные картины окружающей их жизни, природы, быта. От стихотворения к стихотворению картин «живой жизни», «живой природы» у каждого из поэтов становится все больше и больше, гамма чувств, лирический настрой — все эмоциональней и выразительней.

Уж осени холодною рукою
Главы берез и лип обнажены,
Она шумит в дубравах опустелых,
Там день и ночь кружится мертвый лист,
Стоит туман на нивах пожелтелых,
И слышится мгновенный ветра свист.
Поля, холмы, знакомые дубравы!
Хранители священной тишины!
Свидетели минувших дней забавы!
Забыты вы... до сладостной весны!

Строфы из пушкинского «Осеннего утра» — горькие, пронзительные, как сами дни поздней осени. Незадолго перед тем, как оставить лицей, Пушкин написал стихотворение «Прощанье». В нем грустные мысли «о разлуке», которая ждет лицеистов «у порогу», и слова, полные глубокой иронии в адрес тех, кто рьяно заботится лишь об одном — карьере, еще до окончания лицея рвется в «капитаны» и ползет в «асессора»:

Разлука ждет нас у порогу,
Зовет нас света дальний шум,
И всякий смотрит на дорогу
С волненьем гордых, юных дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул —
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде
И греться ходит в караул;
Иной рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным шутом зрит себя...

В целом ряде лицейских стихов Пушкина, особенно таких, как «Воспоминания в Царском Селе», «Казак», «Городок (К ***)», «Послание к Юдину», «Желание», «Сон (отрывок)», «Осеннее утро», в их идейной проблематике, языковой структуре, ритмическом рисунке уже отчетливо угадывается поэт действительности.

«Поэт действительности» все определеннее проглядывается и в ранних стихах Есенина, особенно таких, как «Черная, потом пропахшая выть!..», «Русь», «В том краю, где желтая крапива...», «Табун», «Песнь о собаке», «Устал я жить в родном краю...», «Узоры», «Запели тесаные дроги...», «Голубень», «Синее небо, цветная дуга...», «Гой ты, Русь, моя родная...» и других.

В прозрачном холоде заголубели долы,
Отчетлив стук подкованных копыт,
Трава поблекшая в расстеленные полы
Сбирает медь с обветренных ракит.

. . . .

Осенним холодом расцвечены надежды,
Бредет мой конь, как тихая судьба,
И ловит край махающей одежды
Его чуть мокрая буланая губа.

В дорогу дальнюю, не к битве, не к покою,
Влекут меня незримые следы.
Погаснет день, мелькнув пятой златою,
И в короб лет улягутся труды.

Есенинская лирика при всем ее глубоком индивидуальном художественном своеобразии уходит своими поэтическими корнями в ту реальную действительность, которая окружала и волновала Есенина:

Черная, пóтом пропахшая выть
Как мне тебя не ласкать, не любить?

. . . .

Где-то вдали, на кукане реки,
Дремную песню поют рыбаки.

Оловом светится лужная голь...
Грустная песня, ты — русская боль.

«Как нелепа вся наша жизнь, — с грустью замечает Есенин в одном из юношеских своих писем, относящихся к 1913 году. — Она коверкает нас с колыбели, и

вместо действительно истинных людей выходят какие-то уроды».

Особенно горьки и тревожно-печальны есенинские стихи об извечной крестьянской беде — недороде и засухе:

Заглушила засуха засевки,
Сохнет рожь, и не всходят овсы.
На молебен с хоругвями девки
Потащились в комлях полосы.

Собрались прихожане у чащи,
Лихоманную грусть затая,
Загузынил дьячишко ледащий:
«Спаси, господи, люди твоя».

И далеко не случайно именно это стихотворение Есенина — «Заглушила засуха засевки...» — напечатал Максим Горький в своем журнале «Летопись» в 1916 году.

На действительность своего времени, на окружающий мир природы и особенно на судьбу Руси крестьянской Есенин уже в своих ранних стихах во многом взглянул по-пушкински, с обжигающей душу, истинно пушкинской проникновенной любовью к Родине и верой в человека.

Есенин писал обо всем этом по-своему, не повторяя великого предшественника, а вслед за ним прокладывая собственную поэтическую дорогу, приближаясь все зримее к Пушкину.

* * *

Истинные стихи о Родине всегда вызывают в нас чувство гордости. Они всегда современны. Наступает время новых суровых испытаний для Родины, и вновь вспыхивают ярким светом и как бы наполняются живым патриотическим дыханием и бессмертные строки «Слова о полку Игореве», и героические страницы русского былинного эпоса, и гордые пророческие строфы ломоносовских од о России, ее уме и великом трудолюбии; и едва ли не чаще, чем к кому-либо другому, в такие минуты нравственных, духовных потрясений обращаем мы сердца наши к великому Пушкину, его стихам о России:

Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: все стоит она!

Вспомним годы Великой Отечественной войны. С какой патриотической силой и как современно звучали тогда пушкинские стихи:

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..

Тогда же, в годы фашистского нашествия, для многих наших соотечественников в истинном свете раскрылась великая любовь к России Сергея Есенина, патриотическая глубина, пронзительное чувство Родины в его поэзии:

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Судьба России, ее прошлое, настоящее, будущее — вот что прежде всего глубоко волнует и Пушкина и Есенина, определяет неустанный художественный поиск, гражданскую позицию каждого из поэтов; вот что является главной темой всего их творчества, вот их извечная радость и боль, их немеркнущая мечта и надежда.

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

* * *

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Россия Пушкина, Россия Есенина.

Россия эпохи декабризма, Россия эпохи Великого Октября.

Пушкинская Россия — это годы, когда пламя свободолюбивых патриотических идей, рожденных великим народным подвигом в Отечественной войне 1812 года, опалило души передовых людей и побудило их еще и еще раз «во след Радищеву» накрепко задуматься о будущем своей Отчизны, и не только задуматься, но и открыто вступить на тернистый, но светлый и благородный путь борьбы за свободу народа.

Пушкин был среди этих наиболее честных и мужественных сынов России. В оде «Вольность», наполненной народной болью и гневом, гражданской страстью и призывным революционным пафосом, поэт выносит самодержавию бескомпромиссный приговор:

Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
. . . .
Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу...
. . . .
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.

Декабристы — те, кто в эпоху Пушкина олицетворял все истинно прекрасное и революционное в русском народе, — становятся для поэта нравственным и духовным идеалом. Пушкин открыто и настойчиво тянется к ним. Более чем кто-либо декабристы вдохновляли и питали мятежную пушкинскую музу.

Поэт не отступает, не отрекается от своих духовных связей, духовного единства с декабристами и после того, как восстание на Сенатской площади потерпело поражение. Об этом он со всей убежденностью и прямотой говорит в своем «Арионе»:

На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою...

Таким «прежним гимном» стало пророческое послание Пушкина декабристам в холодную, далекую, страшную по тем временам, каторжную Сибирь:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
. . . .

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

На всем творчестве Пушкина ясно обозначен отсвет вольнолюбивых идей декабристов, на долю которых выпала многотрудная, но великая историческая миссия.

Вместе с декабристами Пушкин всем своим творчеством способствовал пробуждению Отчизны «ото сна», росту духовного самосознания ее народа, способствовал накоплению революционных сил, революционной энергии России.

Пушкинская Россия — это славная история его Родины, история многовековой героической борьбы русского народа за свою национальную независимость, борьбы с польской шляхтой и шведами, турками и Наполеоном.

Пушкинская Россия — это Россия Минина и Кутузова, Ломоносова и Петра Первого, героев Отечественной войны 1812 года и дворянских революционеров-декабристов. Вместе с тем это Россия, задыхающаяся от крепостнического гнета, крепостнической неволи, Россия крестьянских бунтарей и вожаков — Степана Разина и Емельяна Пугачева, Россия трудолюбивого и мужественного народа, который до поры до времени безмолвствует. Но это его грозное, суровое молчание символично. Оно предвещает бурю. Поэт оставляет за народом последнее, решающее слово.

Это решающее слово в истории России было сказано революционным народом в Октябре 1917 года.

Листьями звезды льются
В реки на наших полях.
Да здравствует революция
На земле и на небесах!

Души бросаем бомбами,
Сеем пурговый свист.
Что нам слюна иконная
В наши ворота в высь?

Нам ли страшны полководцы
Белого стада горилл?
Взвихренной конницей рвется
К новому берегу мир, —

так одухотворенно и крылато приветствовал революционное преображение России Сергей Есенин в своем «Небесном барабанщике», написанном в 1918 году.

По сравнению с пушкинской, Россия Есенина — это время еще более крутых поворотов, еще более значительных исторических событий и революционных преобразований. Оно, это время, «помечено», и героическими баррикадами пятого года, и крушением самодержавия в февральские дни семнадцатого года, и октябрьским залпом «Авроры».

Грандиозен и прекрасен был великий революционный поход трудовой России в будущее. Вместе с тем он был суров, драматичен, многотруден. Есенин рассказал об этом с обжигающей душу правдой. Вспомним его «Сорокоуст» и «Анну Снегину», «Русь Советскую» и «Песнь о великом походе».

Одно в годы революции по-пушкински тревожит Есенина, терзает его ум и сердце — судьба Родины, ее будущее.

Художника формирует его время, его эпоха. Чем крупнее, талантливее художник, тем глубже степень познания и отражения им действительности, тем полнее и ярче раскрывает он в своем творчестве, своих книгах характерные черты эпохи и прежде всего те исторические взрывы и потрясения, которые связаны с революционной борьбой его соотечественников за свободу и независимость Родины. И «...если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях» (В. И. Ленин). Таков объективный закон искусства. Таков объективный художественный итог творчества и Пушкина и Есенина.

И в Пушкине и в Есенине, в их жизни и творчестве главное — решительный поворот к передовым идеям, революционным силам своей эпохи. Каждый из них сказал свое великое слово о своем времени и прежде всего о революционных событиях, определяющих узловые социальные, классовые конфликты их эпох. При этом дво-

рянин Пушкин в эпоху декабризма все больше задумывается о судьбах России крестьянской, считая, что «политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян...», а сын Руси крестьянской Сергей Есенин в эпоху пролетарской социалистической революции все больше и больше поворачивает свой взор к России Советской, России ленинской:

Я вижу все
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюму вам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветр, по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.

От Пушкина, его высочайших нравственных, гражданских традиций берет начало огромная мера ответственности Есенина перед своим временем, народом, историей, беспощадная требовательность к себе. Свободолюбивый пафос поэзии Пушкина, как яркий солнечный луч, помогал Есенину в самые трудные и драматические моменты его жизни почувствовать главное в окружающей действительности и увидеть, где подлинная свобода и кто по-настоящему несет ее народам России.

Авторитет Пушкина огромен и непререкаем для Есенина. Вместе с тем на такого художника, как Есенин, при его глубоко органической, ярчайшей поэтической индивидуальности, на протяжении всей жизни, всего творческого пути мог воздействовать и оказывать свое влияние поэт истинно великий и вместе с тем истинно современный. Таким поэтом был Пушкин. Есенин неустанно шел вперед к этой величайшей поэтической вершине мировой и отечественной литературы, обретая все более твердую уверенность и самостоятельность в избранном им пути. Продолжая, развивая, обогащая традиции Пушкина, Есенин оставался и был прежде всего сыном своего века, своей эпохи. Все это, вместе взятое, позволило Есенину еще при жизни, в двадцатые годы, стать объективно тем могучим художественным звеном, которое прочно и навсегда соединило реалистическую поэзию Пушкина, Лермонтова, Некрасова с поэзией социалистического реализма, рожденной Великим Октябрем.

II

На расстоянии

СУДЬБА ПОЭТА

...Я счастлив,
В сонме бурь
Неповторимые я вынес впечатленья,
Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканое цветенье.

Сергей Есенин

В жизни истинного поэта рано или поздно наступают дни, когда талант его щедро открывается людям, а сам он для всех неожиданно радостно, порой вызывающе дерзко входит в литературу. Проходит время, и творчество его становится неотъемлемой, драгоценной частью национальной культуры. Так было когда-то с Пушкиным, талант которого открыл Державин, с Пушкиным, чей мужественный, вольнолюбивый голос услышали декабристы, а затем — вся Россия. Так было позднее с Лермонтовым. Стихотворение «На смерть поэта» сделало имя его известным всей России. Затем Некрасов своим взволнованно-гневным «Размышлением у парадного подъезда» заставил содрогнуться от стыда всю честную, думающую Россию. Так было с Блоком, когда вслед за «Стихами о Прекрасной даме» зазвучали его «Вольные мысли», а затем трагические строки «Возмездия». Так было с Маяковским, поэтом эпохи Октября, призванным и мобилизованным революцией. Так было с Есениным...

Путь поэта от первых лирических стихов о родной природе до поэтической симфонии о России, возрожденной революцией, в «Анне Снегиной», «Песни о великом походе», «Руси Советской» — это путь смелых художественных открытий, полный творческого горения, идейных исканий, гражданского мужества.

И как глубоко и самозабвенно надо было любить Родину, какую чистую широкую душу надо было иметь, чтобы так мужественно по отношению к самому себе и так проницательно в отношении будущего России сказать:

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.

О некоторых характерных чертах этого будущего поэт «золотой бревенчатой избы» с удивительной прозорливостью писал еще в 1918 году: «Пространство будет побеждено, и в свой творческий рисунок мира люди, как в инженерный план, вдунут осязаемые грани строительства. Воздушные рифы глазам воздушных корабельщиков будут видимы так же, как рифы водные. Всюду будут расставлены вехи для безопасного плавания, и человечество будет перекликаться с земли не только с близкими ему по планетам спутниками, а со всем миром в его необъятности».

Так мыслил Есенин. Кажется, что это сказано в наше время, а не в те трудные драматические дни, когда на молодую Республику Советов обрушились интервенция, блокада, разруха и голод, когда даже иным писателям-фантастам Россия казалась «во мгле».

Время — самый суровый и справедливый критик. Оно — время — вывело ныне поэзию Есенина на главную орбиту советской литературы.

Ныне все рельефнее, все весомее, все многограннее и полнее предстает перед нами образ Есенина, его неповторимая судьба великого поэта и человека; все очевидней становится та истина, что творчество его занимает не только достойное место в истории советской литературы, но во всей духовной жизни нашего народа и всего человечества.

Но будем исторически точны и объективны до конца. Так было далеко не всегда. Не всегда так светло, так радужно и достойно складывалась в прошлом гражданская судьба и особенно судьба стихов поэта.

* * *

Чем крупнее художник, масштабнее его творчество, самобытнее талант, противоречивее его эпоха, тем труд-

нее порой современникам оценить истинный вклад его в духовную жизнь нации, раскрыть все грани его дарования.

Наносное, случайное, субъективное, словно туман в горах, может на какое-то время закрыть от нашего взора главное в творчестве, исказить, трансформировать подлинный облик художника. Но если этот художник был действительно истинным сыном народа и его действительно волновали прежде всего судьба Родины, передовые идеи века; если он постоянно чувствовал свою высочайшую гражданскую ответственность перед Отечеством; если он настойчиво стремился к реалистическому изображению действительности, к правде, и только правде, — то рано или поздно словесный туман всяческих «легенд» и различного рода «романов без вранья» вокруг имени такого художника рассеется бесследно и бесславно. И тогда, подобно горной вершине, обозначится явственно и зримо его неповторимый образ.

Научный исследовательский поиск, передовая критическая мысль всегда способствуют этому объективному процессу «прозрения».

Пушкин, Лермонтов, Некрасов...

Ныне, «на расстоянье», они становятся для нас все ближе и прекраснее. При этом сегодня мы, пожалуй, с особой силой чувствуем, сколь велика была роль революционно-демократической критики и прежде всего Белинского, Добролюбова, Чернышевского, которые первыми открыли великое значение этих поэтов для России, для настоящего и будущего.

Точно так же в наши дни все полнее открывается нам огромный поэтический мир Маяковского, Блока, Есенина и других поэтов Октябрьской эпохи — зачинателей советской поэзии.

«Я к вам приду в коммунистическое далеко...» — утверждал Владимир Маяковский в те годы, когда наша «страна-подросток» делала первые шаги по пути к коммуне. После смерти Маяковского кое-кому показалось, что время «агиток» поэта революции прошло, что стихи его рассудочны и риторичны, а пьесы «Клоп» и «Баня» — несценичны. Иные из критиков еще при жизни поэта упрекали его в том, что он не дал образ *нового* (!!!) Ленина, что поэма о вожде — это «рифмо-

ванное обществоведение». Где теперь все эти «пророки»? Маяковский пришел в наше сегодня. Пришел, освобожденный временем и от упрощенных, вульгарно-социологических суждений о его творчестве, и от «хрестоматийного глянца» не в меру ретивых почитателей, пришел как великий поэт Октября, правофланговый поэзии социалистического реализма.

Что же касается таких выдающихся современников Маяковского, как Александр Блок и особенно Сергей Есенин, то долгое время, к сожалению, главное в их творчестве оставалось, по сути дела, не раскрытым, не «проявленным» критикой. Более того, когда в прошлом заходил разговор о поэзии эпохи Октября, то творчество Маяковского нередко противопоставлялось творчеству Блока и еще в большей степени Есенина. «Рассматривая его (Есенина. — *Ю. П.*) творчество в общем ряду современной поэзии, надо сказать, что Есенин, этот последний символист, выражал собой далеко не прогрессивные тенденции русской послереволюционной поэзии. Будущим читательским поколениям, несомненно, покажется странным, что Есенин, — с одной стороны, и Маяковский, Тихонов, Асеев — с другой, были ровесниками» *.

Сказано это было одним из критиков, современников Есенина, после смерти поэта без особого нажима на «упаднические» мотивы поэта, о чем так часто писалось в те годы. Но и этот критик, сделав ряд конкретных интересных наблюдений над языком и стилем Есенина, весьма решительно в конце своей брошюры отнес поэта «к людям уходящей культуры», противопоставив творчество Есенина новой революционной литературе. «...С каждым годом все больше и больше вырисовывается лицо культуры Советской России, — писал он, — пролетарской России.

И последний символист, Есенин, довольно скоро утратит свою популярность, хотя творчество его останется навсегда свидетельством о психологическом складе людей отмершей культуры» **.

Другие, писавшие о Есенине в ту пору, шли еще

---

* В. Друзин. Сергей Есенин. «Прибой». Л., 1927, с. 42—43.
** Там же, с. 44.

«дальше». «Он хотел быть вместе с революцией, но не сумел, — утверждал один из них. — Он не пошел в ногу с жизнью — и жизнь ушла от него. И он погиб» *. «Иногда — очень редко, — замечал другой критик тех лет, — Есенин пытался петь в унисон с революцией. Еще реже удавалось ему облечь эти песни в хорошую поэтическую форму. В немногих социальных стихах своих он бывал обычно слаб, чувствовалась натянутость и даже фальшь. Революция скользнула мимо него, едва задев Есенина. Она многое старое разрушила в нем, но новому он не поддался, в революцию не поверил» **. «Есенин... по характеру своего творчества в его существенном — типичный представитель буржуазного и мелкобуржуазного упаднического индивидуализма» ***. «Настроения, нашедшие свои выражения в «Москве кабацкой», продиктованы в первую очередь потерей веры в нашу революцию, в ее победу, в ее творческое животворящее преобразующее начало, в ее дальнейший размах» ****.

И наконец, еще ряд более «решительных» суждений тех лет об отношении Есенина к Октябрьской революции и его историко-революционных поэмах: «Песнь о великом походе», «Песнь о 26» и другие этого характера — бледны, бескровны, вымученны...» *****. «Приняв логически пролетарское руководство революцией, он ощущал бессилие воплотить ее творчески» ******. «Революции, советского города он и не нюхал. Это видно не только по «Стансам», это явствует и из других «революционных» стихов Есенина, где он обещает «пальнуть

* Вяч. Полонский. На литературные темы. Артель писателей «Круг». Л., 1927, с. 145.

** Г. Бергман. Есенин — знамя упадочных настроений. — В сб.: Против упадничества. Против «есенинщины». М., изд-во «Правда» и «Беднота», 1926, с. 5.

*** Иван Беляев. Подлинный Есенин. Воронеж, 1927, с. 50.

**** А. Вронский. Сергей Есенин. — В кн.: Собрания стихотворений Сергея Есенина в четырех томах. Л., 1927, т. 2, с. XXXIX—XL.

***** А. Ревякин. Чей поэт Сергей Есенин. Издание автора. М., 1926, с. 33.

****** Г. Лелевич. Сергей Есенин. «Гомельский рабочий», 1926, с. 38.

по планете». Все эти стихи неестественны, натянуты, вымученны» *.

Через какие же воистину «черные очки» надо было смотреть на поэта, его творчество, чтобы говорить и писать подобное об авторе «Анны Снегиной», «Песни о великом походе», «Поэмы о 36», «Баллады о двадцати шести», «Стансов», «Руси Советской», «Возвращении на Родину», «Кантаты», «Небесного барабанщика», «Пугачева», «Письма к женщине», «Капитана земли».

Сегодня нам трудно все это представить. Но что было, то было...

И все же оговоримся сразу, что мы вспоминаем и ссылаемся на высказывания о Есенине тех или иных критиков 20—30-х годов и цитируем их здесь и далее отнюдь не для того, чтобы кого-то из них «поучать» задним числом. Тем более что иные из них, подобно Валерию Павловичу Друзину или Александру Ивановичу Ревякину, ныне активно участвуют в современной литературной жизни и являются авторами многих содержательных научных трудов; а иных давно и справедливо наказало время, предав забвению их скоропалительные и необъективные суждения.

Напомнить о прошлых «концепциях» и высказываниях о поэзии Есенина необходимо в наши дни для того, чтобы наглядно представить, сколь сложно и противоречиво происходило движение и развитие критической мысли, направленной на познание и выявление подлинного художественного значения поэзии Есенина в советской литературе, конкретно проследить, каковы были в этом плане наиболее характерные тенденции в прошлом, как развивался в критике и литературоведении процесс восстановления истинного облика Есенина, как великого поэта и Человека, какова была в действительности судьба его литературного наследия.

* * *

К сожалению, многие, очень многие писавшие о Есенине, особенно вскоре после смерти поэта, видели в Есенине прежде всего лишь «певца уходящей патриархаль-

* А. Крученых. Есенин и «Москва кабацкая». М., 1926, с. 16.

ной Руси», получившего в годы детства и юности «церковномистическую закваску». Принято было считать, что по своей «психоидеологии» Есенин — «кулацкий поэт» и «типичный лирик-индивидуалист», что дореволюционные произведения его «являются художественно реакционными» и конфликт «мистического певца старой Руси» с городом был неизбежен: отсюда и «Москва кабацкая», и «поэтизация богемы»; отсюда многие стихи Есенина полны «мотивов отчаяния и безысходности» и наиболее постоянная их тема «опоэтизация хулиганства»; вместе с тем весьма настойчиво и решительно утверждалось, что стихи поэта о революции «рассудочны, худосочны», что «Стансы» Есенина — «фальшивы» и ему «рано еще писать о Марксе и Ленине».

Находились критики (и таких было немало), которые вообще были готовы «отлучить» Есенина-поэта и особенно гражданина — от революционной действительности.

А сколько в ту пору раздавалось «сочувственных» голосов и о «драме Есенина», в которых порой звучали и явная фальшь, и ханжеское лицемерие, сколько было говорено о том, что, конечно же, природа наделила Есенина удивительным лирическим даром, что поэт он — «милостью божьей» обжигающей искренности и таланта. Но вот, дескать, «жаль», что поделаешь, сказались и «среда», и условия воспитания Есенина: поэту «не хватало большой культуры», «образованности». Поэтому «он писал от нутра», и хотя в этом «много положительного», но в этом же «таилась и прямая опасность», ибо «творчество *от одного нутра, без надлежащей культуры* (курсив мой. — *Ю. П.*), без упорной работы над собой брало непомерно много сил». И Есенин естественно и неизбежно очень скоро растратил свои силы, свой талант. Да к тому же у него, Есенина, не было «целостного художественного миросозерцания. Он двойствен, расколот...», отсюда «конфликт с эпохой» и, как это ни тяжело сознавать, «неизбежная гибель» поэта.

Эта концепция творчества и личности Есенина, возникшая в середине двадцатых годов и весьма прочно утвердившаяся в пору «расцвета» вульгарного социологизма, имела свои крайности, свои политические оттенки.

Связано все это было самым непосредственным обра-

зом с острейшей идеологической борьбой, которая в пору становления молодого Советского государства, и особенно в годы нэпа, развернулась на литературном фронте.

Борьба эта отражала сложный процесс формирования и развития в нашей стране новой, социалистической литературы.

Есенин — один из зачинателей советской поэзии, смог в своем творчестве решительно преодолеть формалистические «искусы», включая и «опеку» имажинистских «друзей», и повернуть непреклонно к пушкинской простоте.

«Пушкин, — открыто провозглашал в это время Есенин, — самый любимый мною поэт». В стихах с огромной внутренней убежденностью и взволнованностью Есенин говорит о живой связи современности с классикой:

Писали раньше
Ямбом и октавой.
Классическая форма
Умерла,
Но ныне, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
Удила.

Следует подчеркнуть, что в последние годы жизни Есенина в печати, пусть редко, но все же раздавались здравые голоса в поддержку поэта, столь необходимые для Есенина; в них, этих голосах, звучала и озабоченность дальнейшей судьбой поэта, и искреннее одобрение, и радость в связи с решительным поворотом Есенина к пушкинским традициям, а главное — глубокому раскрытию поэтом в своих новых стихах современной темы. Здесь прежде всего следует сказать о «Предисловии», предпосланном сборнику стихов Есенина «Русь Советская», изданному в эти годы в Баку. Дав высокую оценку таким стихам Есенина, как «Русь Советская», «Песнь о великом походе», «Возвращение на родину», «Письмо к женщине» и другим, вошедшим в сборник, автор предисловия редактор «Бакинского рабочего» П. И. Чагин подчеркивал, что ныне «Сергей Есенин — уже больше чем попутчик, он уже наш спут-

ник» *. Несколько ранее «Правда» дает высокую оценку художественной силе и удивительной простоте стихов Есенина «Русь Советская» и других, опубликованных в «Красной нови», отмечая при этом, что «после долгих и бурных исканий Есенин пришел к Пушкину» **.

Однако вскоре после смерти Есенина эти здраво звучащие голоса все больше стали тонуть в потоке хулы и прямой клеветы по адресу поэта. Находились в те дни и такие «деятели», которые подобно А. Крученых и особенно Л. Сосновскому начисто отрицали художественное и общественное значение творчества поэта, ставя при этом безоговорочно знак равенства между Есениным и «есенинщиной». Так, Л. Сосновский в своей крикливо демагогической статье «Развенчайте хулиганство», приведя несколько стихотворных цитат Есенина, в высшей степени произвольно и тенденциозно истолковывая их, практически *все* творчество Есенина свел к двум-трем стихам «Москвы кабацкой», весьма «решительно» утверждая при этом, что поэзия Есенина — это «лирика взбесившихся кобелей» *** (!!!). Надо ли удивляться, что он же, Сосновский, в этой же статье, с «радостью» сообщил читателям, что «уже прошел первый угар, вознесший этого свихнувшегося талантливого неудачника чуть ли не в великие национальные поэты. Уже вышел первый сборник статей против есенинщины» ****. Круг замкнулся: Есенин, «есенинщина» для автора статьи «Развенчайте хулиганство» — понятия однозначные. И он вновь и вновь вопреки исторической правде, не желая считаться с такими очевиднейшими и хорошо известными всем фактами: что, помимо «Москвы кабацкой», в том же 1924 году Госиздат выпускает массовым тиражом есенинскую «Песнь о великом походе», что в 1924—1925 годах выходят такие книги поэта, как «О России и революции», «Березовый ситец», «Русь Советская», «Страна Советская», что Есенин — это автор

* П. Чагин. Предисловие. — В кн.: С. Есенин. Русь Советская. Баку, кооперативное изд-во «Бакинский рабочий», 1925, с. 4.

** И. Ионов. Рецензия на журнал «Красная новь», кн. 4—5. — «Правда», 1924, 24 октября.

*** Л. Сосновский. Развенчайте хулиганство. — «Комсомольская правда», 1926, 19 сентября.

**** Там же.

и «Анны Снегиной», и «Письма матери», и «Персидских мотивов», и многих других целомудреннейших стихов, — Л. Сосновский стремится еще и еще раз замкнуть в рамки «Москвы кабацкой» всего Есенина, для того чтобы представить его «кабацким поэтом» и «доказать», что «в этом жутком логове формируется идеология Есенина, которого (не с похмелья ли?) нарекли «великим, национальным поэтом» и вывесили над Домом печати соответствующий плакат, без всякого протеста со стороны коммунистов, руководителей Дома печати» *.

Протест, о котором «беспокоился» Сосновский, был. Но не со стороны коммунистов Дома печати, а со стороны ряда литераторов-коммунистов, со стороны крупнейших писателей того времени, протест против хулиганствующей статьи Л. Сосновского и тех, кто пытался вскоре после смерти поэта писать о нем в подобном духе, безоговорочно отождествляя Есенина с «есенинщиной».

«О Есенине, оставившем нам «Русь Советскую», о Есенине, который понял в конце не только величие революции, но и органическую ее необходимость для «Руси», теперь клевещут бесстыдные языки: «он погиб потому, что на его стихах хотели наклеить марку агитпропа, а он не вынес, и вот — трагический конец». Клевета всегда вызывает отвращение и брезгливость. Клевета, которая распространяется после смерти, отвратительнее в десять раз, — взволнованно писал в те дни В. Киршон в журнале «Молодая гвардия». — Нельзя позволять пятнать память Сергея Есенина, нельзя позволять смрадным и гниющим обломкам старого мира прикасаться к имени поэта «Руси Советской» **. И далее: «Нет, не правы те, кто говорит, что «Москва кабацкая» возведена Сергеем Есениным в «перл создания...». Нет, не причисляйте его к певцам кабака, он им никогда не был...» ***.

Вскоре после опубликования статьи Л. Сосновского в «Комсомольскую правду» пришло письмо группы бе-

* Л. Сосновский. Развенчайте хулиганство. — «Комсомольская правда», 1926, 19 сентября.

** В. Киршон. Сергей Есенин. — «Молодая гвардия», 1926, № 1, с. 216.

*** Там же, с. 225.

лорусских поэтов: Максима Лужанина, Петруся Глебки и других. Тогда, к сожалению, оно опубликовано не было. История сохранила этот очень важный и дорогой для всех нас, соотечественников Есенина, волнующий и поучительный документ. Вот выдержка из этого письма: «В «Комсомольской правде» от 19 сентября 1926 года № 216 помещена статья Л. Сосновского «Развенчайте хулиганство». Хулиганство, отмечают авторы письма, наболевший вопрос, и начатая кампания чрезвычайно своевременна и целесообразна.

Но фельетонист Сосновский, что называется, «налетел». Под маской развенчивания хулиганства видно желание, которое обуревает, особенно после смерти С. Есенина, многих «писак» лить и бросать всевозможные отбросы на кудрявую голову Есенина...

Если Есенина, продолжают авторы письма далее, нарекли великим национальным поэтом, то нарекли подлинно по заслугам, и Сосновскому придется переменить три шкуры, чтобы убавить хоть крупинку славы Есенина... Выводить идеологию Есенина из одного-двух стихотворений, не приводя их полностью и забывая «Балладу о двадцати шести», «Поэму о 36» и другие, очень опрометчиво и рискованно даже для такого «литературно грамотного» человека, как автор вышеприведенной статьи...

Обвинять Есенина в идеологических срывах нужно не с налета, а внимательно читая и анализируя его творчество, и если он будет обвинен, то не такими «мастерами литературного дела», как Сосновский.

Выступление против хулиганства мы горячо приветствуем, но зачем пятнать имя поэта, ловко замаскированное клеветой, ни в каком случае не заслуженной Есениным?

Мы, группа белорусских поэтов, посылаем настоящее письмо с целью высказать наши мысли о Есенине, как людей другой национальности.

Может быть, Есенин даже слишком горячо относился к своей Руси, но иначе он не был бы национальным поэтом. Он внес новое, он истинный художник, надо только хорошей критике подготовить как следует читателя к изучению Есенина, а не нападать как попало, лая на разные голоса,

Далекие национальности СССР выскажутся о Есенине, потому что он великий поэт и художник, и тем самым смоют тень, наложенную неосмотрительной статьею тов. Сосновского.

«Шила в мешке не утаишь».

С товарищеским приветом
группа белорусских поэтов.

23 сентября 1926 г.
БССР г. Минск» *.

Тридцать лет письмо это пролежало в архиве. Полный текст его был опубликован мной впервые на родине Есенина в 1955 году в альманахе «Литературная Рязань».

Кроме В. Киршона, кроме группы белорусских поэтов, А. В. Луначарский, Владимир Маяковский, Николай Асеев, Владимир Ермилов, Петр Орешин, Владимир Правдухин, Сергей Городецкий, Дмитрий Благой, Иннокентий Оксенов, Н. П. Медведев и другие выступили в печати, на дискуссиях и общественных диспутах «об упадничестве и есенинщине», против тех, кто упорно не хотел видеть *принципиальной разницы* между поэзией и личностью Есенина и нездоровыми, упадническими настроениями, возникшими среди некоторой части молодежи в период нэпа.

Правда, суждения и высказывания многих авторов в «защиту» Есенина от «есенинщины» были не всегда последовательны, противоречивы, порой явно полемичны по отношению друг к другу. Но следует подчеркнуть, что главный пафос всех этих выступлений и высказываний был очевиден — это решительное возражение против тенденции считать поэзию Есенина главной причиной упаднических настроений среди молодежи, протест против попытки представить поэта идейным вдохновителем хулиганства. Характерным примером в этом отношении является высказывание о Есенине А. В. Луначарского. «Обыкновенно, — отмечал он в одном из своих выступлений, — когда подходят к Есенину, к его поэзии, то прежде всего стараются доказать, что он сам был хулиган, пессимист и упадочник. Это верно, но

* Рукописный отдел ИМЛИ имени А. М. Горького.

только до известной степени. Это односторонняя и для нас маловыгодная позиция.

Мы замалчиваем, — продолжал Луначарский, — некоторые факты, которые нужны для борьбы с есенинщиной, ибо, по-моему, одним из самых крупных борцов против есенинщины должен явиться сам Есенин. Это тот человек, который совершил в некоторой степени акт большого мужества в борьбе с хулиганством. Не нужно Есенина и есенинщину абсолютно отождествлять» *.

Тогда же М. Горький, А. Толстой, Л. Леонов, Б. Лавренев, Д. Фурманов, А. Серафимович, А. Фадеев, многие художники слова, говоря о Есенине, его противоречиях, трагическом уходе из жизни, отмечали неувядаемую силу стихов Есенина как великого национального поэта.

«Мы потеряли великого русского поэта» **, — писал Максим Горький, потрясенный смертью Есенина. Он же говорил в те дни в связи с выходом первого тома Собрания стихотворений Есенина: «Какой чистый и какой русский поэт. Мне кажется, что его стихи очень многих отрезвят и приведут в себя...» ***. Несколько позднее Горький сообщает жене поэта — С. А. Толстой-Есениной, что он работает над очерком «Сергей Есенин» и просит ее прислать «две-три наиболее бесстыдные и плохие книжки» о поэте, чтобы он мог возразить их авторам ****. Вскоре после этого Горький резко отрицательно отозвался о «Романе без вранья» А. Мариенгофа — воспоминаниях одного из имажинистских «собратьев» Есенина, который, будучи рядом с поэтом, не смог открыть для себя подлинного, настоящего Есенина, особенно — человека. «Фигура Есенина изображена им зло» *****, — с возмущением писал Горький по поводу

* Упадочное настроение среди молодежи (есенинщина). Сб. ст. М., Комакадемия, 1927, с. 160. — То же в кн.: А. В. Луначарский. Статьи о советской литературе. М., с. 438.

** М. Горький. Письмо к Ф. Элленсу от 7 февраля 1926 г. — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. 3. М., 1959, с. 447.

*** М. Горький. Письмо А. П. Чапыгину от 17 июня 1926 г. — Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29, с. 470.

**** М. Горький. Письмо к С. А. Толстой-Есениной от 7 июля 1926 г. — «Литературная Россия», 1956, 1 октября.

***** М. И. Горький. Письмо Д. А. Лутохину, 21 сентября 1927 г. — Собр. соч. в 30-ти т., т. 30, с. 37.

книги Мариенгофа. Протестует Горький и против злых «ярлыков» Ивана Бунина, который, находясь в эмиграции, в своей статье «О самородках» назвал Есенина «хамом» и «жуликом» *.

Время, естественно, внесло уточнения в горьковские мысли и раздумья о Есенине. Но бесспорно одно: Горький всегда видел в Есенине великого русского поэта.

Глубоко национальная основа поэзии Есенина всегда волновала Алексея Толстого. Об этом он прямо и неоднократно заявлял и устно и печатно. И хотя с отдельными толстовскими раздумьями о судьбе поэта во время революционных «будней» мы сегодня не можем согласиться полностью, нам дорого и близко идущее из глубины души художника его проникновенное и мудрое слово о Есенине:

«Погиб величайший поэт... Он горел во время революции и задохнулся в будни...

Он ушел от деревни, но не пришел к городу. Последние годы его жизни были расточением его гения. Он расточал себя. Его поэзия есть как бы разбрасывание обеими пригоршнями сокровищ его души.

Считаю, что нация должна надеть траур по Есенину» **.

Сказал свое слово о Есенине и старейший пролетарский писатель Александр Серафимович. В архиве писателя сохранилась такая нескрываемо восторженная и принципиальнейшая запись о Есенине, относящаяся к 1926 году: «Это был великий художник. С огромной интуицией, с огромным творчеством, единственный в наше время поэт. Такой чудовищной способности изображения тончайших переживаний, самых нежнейших, самых интимнейших, — ни у кого из современников... Чудесное наследство» ***.

Позднее, в 1928 году, А. Серафимович, говоря об отношении Есенина к революции и городу, отмечал, что поэт «оказался между двумя историческими жерновами», что он был «чужд машине, заводу и, стало быть —

* М. Горький. Письмо С. Н. Сергееву-Ценскому, 20 октября 1927 г. Собр. соч. в 30-ти т., т. 30, с. 41.

** Алексей Толстой. Сергей Есенин. — «30 дней», 1926, № 2, с. 18.

*** А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов. М., 1958, с. 312.

рабочему, а стало быть — революции». Как видим, «концепция» о Есенине, певце уходящей крестьянской Руси, делала молча свое дело! Но и в этой заметке «В Сормове», опубликованной журналом «Октябрь», А. Серафимович, как и прежде, считает Есенина самобытнейшим и «самым крупным поэтом» *.

Да, наследие Есенина было действительно чудесным. И далеко не случайно Госиздат вскоре после смерти Есенина вместо трехтомного собрания стихотворений, которое было подготовлено еще при жизни самим поэтом, решает выпустить полное собрание его стихотворений. «Известия» в те дни сообщили: «В целях увековечения памяти Сергея Есенина Государственное издательство решило развернуть это (трехтомное. — *Ю. П.*), уже находящееся в печати, издание в полное собрание сочинений» Есенина, включая и прозу.

Первый том, в который входят лирические стихотворения, выйдет в свет в конце января, второй и третий тома — в течение февраля. Сейчас уже приступлено к составлению четвертого тома... ** Это были знаменитые ныне четыре есенинских томика с березками ***, приобрести которые в наши дни почти невозможно.

Писатель Дмитрий Фурманов, участвующий в подготовке собрания стихотворений Есенина (в те годы он работал в Госиздате), записывает после смерти поэта в своем дневнике: «...большое и доброе мы все потеряли. Такой это был органический, ароматный талант, этот Есенин, вся эта гамма простых и мудрых стихов — нет ей равного в том, что у нас перед глазами» ****.

Попутчиком восставшего народа виделся Есенин в те годы молодому Александру Фадееву, активно связанному с РАППом. «Есенин, — подчеркивал он, — был и остался попутчиком революции» *****. Однако при этом

* А. Серафимович. В Сормове. — «Октябрь», 1926, № 8, с. 166—167.

** Полное собрание стихотворений Сергея Есенина. — «Известия», 1926, 10 января.

*** В 1927—1928 годах это издание «Собрания стихотворений Сергея Есенина» вышло повторно в «Библиотеке всемирной литературы» Госиздата.

**** Д. Фурманов. Сергей Есенин (из дневника). — Русские писатели о литературном труде, т. 4. Л., 1956, с. 708—709.

***** Памяти Есенина и Арского, вечер РАППа. — «Советский юг». Ростов-на-Дону, 1926, 15 января, с. 7.

он отмечал, что Есенина по-настоящему волнуют человеческие чувства. Они в центре его лирики *.

Тогда же Владимир Маяковский, в сердце которого в те драматические дни рождались строки знаменитого стихотворения «Сергею Есенину», решительно выступил против панибратски-развязного, по существу, обывательского отношения к памяти поэта со стороны его некоторых «друзей» и «поклонников»: «Сережа» как литературный факт — не существует. Есть поэт — Сергей Есенин. О таком просим и говорить» **.

Маяковский был искренне взволнован судьбой Есенина, с которым при жизни неоднократно встречался, спорил на литературных вечерах и в стихах; но особенно взволновала и потрясла Маяковского смерть Есенина, потрясла *лично,* по-человечески:

Вы ушли,
 как говорится,
  в мир иной.
Пустота...
 Летите,
  в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
 ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
 это не насмешка.
В горле
 горе комом —
  не смешок.
Вижу —
 взрезанной рукой помешкав,
Собственных
 костей
  качаете мешок ***.

С какой иронией, каким сарказмом поэт говорит о тех критиках-«доброжелателях», тех «провидцах», которые после смерти Есенина еще громче продолжали «сокрушаться» и «сетовать» на то, что он, Есенин, «порвав с деревней», «ушел в кабаки» и его «сгубила» богема.

---

* А. Фадеев. За ТРАМ и против «трамчванства». — «На литературном посту», 1929, № 20, с. 6—8.

** Владимир Маяковский. Полн. собр. соч. в 13-ти т. М., ГИХЛ, 1959, т. 7, с. 100.

*** Там же.

Почему?
Зачем?
Недоуменье смяло.
Критики бормочут:
— Этому вина
то...
да сё...
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина. —
Дескать, заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то
жажду
заливает квасом?
Класс — он тоже
выпить не дурак.

Дескать, к вам поставить бы
кого из напостóв —
стали б
содержанием
премного одаренней.
Вы бы
в день
писали
строк по стó,
утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
на себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки! *

Стихотворение «Сергею Есенину» приоткрывает нам многое и в судьбе самого Маяковского, и вообще в судьбе большого, настоящего художника, жизнь которого чаще всего и неповторимо прекрасна, и сурово многотрудна.

---

* Владимир Маяковский. Полн. собр. соч. в 13-ти т. М., ГИХЛ, 1958, т. 7, с. 101—102.

Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

Это сказал Есенин; сказал о себе, но еще больше о судьбе каждого истинного поэта. Да, «каторга чувств», каторга поэтического озарения, — всегда счастье, всегда радость открытия новой красоты мира и человека! Но от художника-творца она — «каторга чувств» — неумолимо требует отдачи всей эмоциональной энергии души и сердца.

Природа до краев наполняет «кровью чувств» сердца и души великих художников слова. Она особенно щедра к ним, но вместе с тем и беспощадна. Идут годы. Поэт отважно штурмует одну творческую вершину за другой. Одна за другой они покоряются его вдохновенью. Но кто знает, чего это ему стоит! Все больше расходует он эмоциональной энергии; все меньше остается в его душе, открытой нараспашку всем ветрам и бурям века, «крови чувств»... Тогда-то и приходит «страшнейшая из амортизаций — амортизация тела и души». Можно понять Маяковского, который столь раздраженно-резко и вместе с тем с такой открытой болью, отвечая на одну из записок о Есенине, говорил: «Мне плевать после смерти на все памятники и венки: берегите поэтов!» *

Владимир Маяковский вместе с рядом писателей и критиков (В. Киршоном, П. Орешиным, А. Луначарским, В. Дынник и другими) публично выступает против выходящих в то время одна за другой тоненьких, но ядовито злых брошюрок А. Крученых: «Черная тайна Есенина», «Лики Есенина от херувима до хулигана», «Хулиган Есенин», «Есенин и «Москва кабацкая», «Драма Есенина» — уже одни названия которых весьма ясно свидетельствуют о нигилистически-оголтелой позиции их автора по отношению к Есенину, его литературному наследию.

---

* «Мое открытие Америки» (вечер Владимира Маяковского). — «Вечернее радио». Харьков, 1926, 26 января. Цит. по кн.: Е. Л. Карпов. С. А. Есенин. Библиографический справочник. М., изд.-во «Высшая школа», 1972, с. 70.

А. Крученых бездоказательно и нагло писал в своих книжонках, что все творчество Есенина — это путь «...от херувима через хулигана до самоубийцы» *, что «Есенин как поэт жил и умер в Москве кабацкой. Иной Москвы он не заметил...» ** и «его психика была глубоко чужда современности...» ***, что «Есенин — поэт самоубийства...» ****. Отсюда как вывод: «...внутренняя жизнь Есенина в последние годы была только дорогой к смерти» *****.

Маяковский очень справедливо и метко назвал все эти «изыскания» А. Крученых «дурно пахнущими книжонками» ******. Имея в виду постоянные, назойливо-демагогические высказывания А. Крученых о том, что «вся революция не впору Есенину, не по нему» *******, что «у Есенина всегда выходило — чем революционнее — тем слабее» ********, Маяковский с явной иронией говорит о том, что «...Крученых... обучает Есенина политграмоте так, как будто сам Крученых всю жизнь провел на каторге, страдая за свободу, и ему большого труда стоит написать шесть (!) книжечек об Есенине рукой, с которой еще не стерлась полоса от гремящих кандалов» *********.

Однако А. Крученых не унимался. Он вновь и вновь воинственно заявлял, что «вредоносность самого Есенина, его примера и его «идеология» — вот о чем я писал,

---

* А. Крученых. Новый Есенин. Издание автора. М., 1926, с. 7.

** А. Крученых. Есенин и Москва кабацкая. Издание автора. М., 1926, с. 10.

*** А. Крученых. Драма Есенина. Издательство Всероссийского союза поэтов. М., 1926, с. 9.

**** А. Крученых. Есенин и Москва кабацкая. Издание автора. М., 1926, с. 21.

***** А. Крученых. Новый Есенин. Издание автора. М., 1926, с. 11.

****** Владимир Маяковский. Полн. собр. соч. в 13-ти т. М., ГИХЛ, 1959, т. 12, с. 97.

******* А. Крученых. Драма Есенина. Издательство Всероссийского союза поэтов. М., 1926, с. 8.

******** Там же, с. 7.

********* Владимир Маяковский. Полн. собр. соч. в 13-ти т. М., ГИХЛ, 1959, т. 12, с. 97.

пишу, и буду, вероятно, еще писать...» * и что «до тех пор, пока наша молодежь не будет окончательно вытрезвлена от «есенинского» запоя, пока в тугие мозги «есенистов от критики» не проникнет сознание глубочайшей общественной вредности творимого ими «чествования» и «обожествления» памяти «великого развратителя юных умов» — я не могу сложить пера» **. Особенно «тревожит» и «огорчает» А. Крученых то «печальное» обстоятельство, что «обличать самого Есенина, как родоначальника и в конце концов основоположника пресловутой «есенинщины», у большинства не хватает духа ***. Вот почему, замечает А. Крученых далее, истинную радость ему принесли бухаринские «Злые заметки» — «единственно последовательная» **** статья в борьбе с «есенинщиной». Он полностью принимает и безоговорочно разделяет, по сути дела, махрово субъективистские, кажущиеся ныне просто чудовищными утверждения автора «Злых заметок», что «идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого национального характера: мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни вообще» *****.

Пытались, особенно после смерти Есенина, приложить «свою руку» к наследию поэта и «приблизить» его к себе троцкисты.

В противоположность тем, кто после смерти Есенина продолжал с еще большей энергией «осуждать» и «упрекать» поэта во всех смертных грехах, договариваясь при этом, как мы видели, до таких чудовищных крайностей, что есенинская поэзия — это «лирика взбесившихся кобелей» и т. д. и т. п., — троцкисты не «упрекали» поэта, не «прорабатывали», а «сочувствовали» ему, «жалели» как человека, родившегося «не ко времени». Они писали и говорили о Есенине прежде всего как о «лиричнейшем поэте», «поэте не от мира

---

* А. Крученых. О статье Н. Бухарина против Есенина. Издание автора. М., 1927, с. 3.

** Там же, с. 4.

*** Там же, с. 2.

**** Там же.

***** Там же.

сего» и сокрушались, что все мы «не успели сохранить поэта». Вместе с тем попутно, поначалу даже как бы мимоходом, без особого нажима, а затем все настойчивее троцкисты пытаются противопоставить Есенина его эпохе, отторгнуть поэта от Октябрьской революции; отсоединить от главного в его жизни и творчестве, от того, что в конечном итоге определяет место Есенина в истории советской литературы, в судьбах его Родины.

«Новым» в «концепции» троцкистов по сравнению с другими было рассуждение о якобы фатальной несовместимости и неизбежности гибельного столкновения «лиричнейшего поэта» с «нелирической», «публицистической», «эпической» революционной эпохой. Вот почему «короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой». Утверждение троцкистов о неминуемой гибели такого поэта, как Есенин, было, конечно же, делом далеко не случайным. Это был «тонко» рассчитанный ход. Отрицая возможность окончательной победы пролетарской революции и построения социализма в России, без победы революции на Западе, видя во всем крестьянстве лишь чуждые пролетарской революции силы, развернув после смерти В. И. Ленина атаки на ленинизм, на генеральную линию партии, троцкисты прежде всего, а заодно с ними и все «левые» и «правые» пытались доказать, что вот и сын крестьянской Руси — лиричнейший поэт Сергей Есенин — очень скоро разочаровался в революции, не веря в ее победу, оказался чужд, «несроден» революции — и погиб.

И чем решительнее Есенин как поэт и гражданин поворачивал вместе с крестьянской трудовой Россией свое сердце к великой правде Ленина, открыто заявляя в стихах, что он счастлив, ибо в суровое революционное время вместе с Лениным «одними чувствами дышал и жил» («Капитан земли»), что за ленинское «знамя вольности и светлого труда» он готов отныне «идти хоть до Ла-Манша» («Письмо к женщине»), что он ясно видит: «имя Ленина шумит, как ветр, по краю, давая мыслям ход...» («Стансы»), что ныне он «полон дум» об «индустрийной мощи» его Родины и глубоко убежден, что будущее не за полевой Русью, а за стальной, ленинской Россией («Неуютная жидкая лунность...») — тем настойчивее троцкисты и все, кто пытался в те годы по-

сеять ядовитые семена неверия в победу социализма в России, стремились представить Есенина прежде всего поэтом не новой, Советской России, а певцом Руси уходящей и «Москвы кабацкой».

Оторвать и противопоставить поэта важнейшим событиям его эпохи, представить его творчество вне времени, вне истории, вне социальных бурь и революционных потрясений на его Родине, счастливым свидетелем и соучастником которых он был, — это значит убить поэта, убить общественное и национальное звучание его поэзии, представить его судьбу в злонамеренно-искаженном свете и не только бессовестно обокрасть поэта, но вместе с ним и нас, его соотечественников, кому он отдал весь пламень своей могучей души и неподкупного сердца.

Хорошо известно: чем ложь и клевета наглей и беспардонней, тем она порой оказывается более живучей, более одурманивающей. Отголоски вроде ядовитой крученовской пачкотни или таких злопыхательских статеек, как «Развенчайте хулиганство» и «Злые заметки», или, наконец, иезуитски-«сочувственных» троцкистских высказываний о Есенине, его судьбе, граничащих с клеветой на поэта, не говоря уже о многих других более «сдержанных» суждениях о поэте, — в основе своей также вульгарно-социологических и крайне субъективных, — долгое время давали о себе знать во многих статьях и высказываниях о Есенине, проникая, к сожалению, на страницы и школьных учебников, и в солидные монографии, и в авторитетные энциклопедические издания. Так, в книге Г. А. Медынского «Религиозное влияние в русской литературе (очерки из истории русской художественной литературы XIX и XX веков)», вышедшей в Москве в 1933 году, в главе «Уму — республика, а сердцу — Китеж-град (Клюев, Есенин, Клычков)», автор рассматривает все творчество Есенина прежде всего как творчество религиозного поэта. «Вот почему, — заключает он, — Есенин вреден строительству социализма».

Всего двенадцать строк отведено Есенину в «Краткой советской энциклопедии» (ОГИЗ. М., 1943, с. 467). Тенденция та же: «был имажинистом. В его произведениях («Радуница», «Голубень» и др.) поэтизируется

патриархальная Русь. В поэзии Есенина сильны мотивы ненависти к городской культуре, чувство одиночества, отчаяния, упадничества («Москва кабацкая», «Исповедь хулигана»). «В стихах «Возвращение на родину», «Русь Советская» пытался осмыслить советскую действительность». Всего лишь «пытался» осмыслить! И ни слова об «Анне Снегиной», «Песни о великом походе», «Письме к женщине», «Персидских мотивах», «Балладе о двадцати шести», ни слова о народности, любви поэта к Родине, о патриотизме и гражданственности его стихов.

Немногим более, сорок шесть строк, отведено Есенину в школьном учебнике «Русская советская литература» (Учпедгиз, 1952). Но дело даже не столько в количестве строк, сколько опять в той же пресловутой тенденции.

Вот как, по существу, предвзято односторонне характеризуется в учебнике та среда, в которой в годы революции развивался талант поэта, формировалось его мировоззрение: «Отсутствие бумаги, приводившее к большой задержке появления стихов в печати, заставляло и крупных поэтов выступать с чтением стихов на эстрадах, в кафе (например, в «Стойле Пегаса»). Такое кафе «Бом» рисует в «Хождении по мукам» А. Толстой: «Здесь собирались поэты всех школ, бывшие журналисты, литературные спекулянты, бойкие юноши, легко и ловко приспособляющиеся к смутному времени, девицы, отравленные скукой и кокаином, мелкие анархисты — в поисках острых развлечений, обыватели, прельстившиеся пирожными». В этой обстановке развивалось творчество Сергея Есенина (!!!), что не могло не повредить его личной жизни и творчеству» *.

Сообщив затем, что писал Горький о Есенине как «органе» для поэзии и указав далее предельно кратко, что лирический дар поэта наиболее полно проявился «в проникновенном изображении русской природы» и «тонкой любовной лирике», автор учебника основное внимание и место отводит вскрытию «ошибок» и «заблуждений» поэта. «Есенин, — пишет он, — не сумел

* Л. И. Тимофеев. Русская советская литература. М., Учпедгиз, изд. 7-е, 1952, с. 166.

противостоять враждебным идеологическим влияниям, они помешали ему по-настоящему почувствовать новую жизнь, внушили ему глубоко упадочные настроения. Этот отрыв от народа крайне тяжело сказался и на жизни и на творчестве Есенина. Безудержное прожигание жизни и прославление этого прожигания в стихах создали ту хмельную и нездоровую славу, которая связана с именем Есенина. Его стихи замутила больная тина пьяной удали, кабацкого разгула.

Песней хриплой и ненужной
Мешал я спать стране родной, —

сказал он сам о своих стихах последнего периода (!!!). Он изменил самому себе, своему таланту, своей любви к Родине. («Себе, любимому, чужой я человек»), уйдя в «Москву кабацкую», как назвал он цикл своих наиболее упадочных стихов» *.

Такие «достоверные» и «исчерпывающие» сведения о великом русском поэте Сергее Есенине получали не в столь уже отдаленные времена десятиклассники на пороге вступления в самостоятельную жизнь.

Мы коснулись здесь лишь нескольких печальных и горьких фактов. К великому сожалению, в прошлом их было куда больше. И можно было бы здесь говорить о других авторах и других книгах, читать которые сегодня и больно и стыдно.

В силу сложившихся обстоятельств, драматических и противоречивых, о некоторых из них речь шла выше, творчество Есенина, его судьба не сразу предстали перед читателем как творчество и судьба великого русского поэта.

Разного рода «дурно пахнущие книжонки» и «романы без вранья» сбивали порой с толку и тех, кто еще в 20-х годах и позднее стремился выявить действительное идейно-художественное содержание поэзии Есенина, честно разобраться в сложной судьбе поэта, отделить его поэзию от пресловутой «есенинщины».

Прошли десятилетия, прежде чем богатейшее поэти-

* Л. И. Тимофеев. Русская литература. М., Учпедгиз, 1952, с. 167. Почти дословно все сказанное о Есенине в этом, седьмом, издании учебника повторяется в восьмом, девятом, десятом... изданиях, которые выходят в 1953—1955 годах.

ческое наследие Есенина получило заслуженную объективную оценку, а сам поэт, его образ, его судьба предстали в истинном свете.

* * *

Поэзия Есенина в высшей степени драматична и правдива, она полна острых социальных конфликтов и поистине трагедийных коллизий, глубоких, порой, казалось бы, неодолимых, кричащих противоречий.

«Анна Снегина» и «Сорокоуст», «Песнь о великом походе» и «Москва кабацкая», «Ленин» (отрывок из поэмы «Гуляй-поле») и «Инония», «Капитан земли» и «Русь уходящая», «Стансы» и «Исповедь хулигана», «Поэма о 36» и «Москва кабацкая», «Персидские мотивы» и «Черный человек» — поначалу трудно даже представить, что *все* эти поэмы и стихи создал *один* человек, да к тому же за три-четыре года! Такие они полярные по темам, такие, казалось бы, разнохарактерные по стилю, противоречивые. Вместе с тем как широк взгляд их автора на явления действительности, как кровно поэт связан с народной жизнью, как много он пережил, передумал!

Тем досаднее и огорчительнее, что в прошлом противоречия во взглядах и творчестве поэта чаще всего, как мы это уже видели, объяснялись лишь индивидуальными чертами характера Есенина, раздвоенностью его личности и другими субъективными моментами.

Долгое время упускалась из виду другая объективная сторона жизни и творчества поэта. Драматизм поэзии Есенина, ее сильные и слабые стороны, сама судьба поэта порождены прежде всего теми историческими объективными условиями, в которых поэт жил и создавал свои произведения.

Противоречия во взглядах и творчестве Есенина являлись глубоким и серьезным отражением в его душе действительных явлений жизни, они прежде всего были источником движения и развития его поэзии.

Никогда еще перед художником столь ярко не открывалась красота «Земли и Человека», красота народного подвига во имя счастья и свободы, как в эпоху Великого Октября, но и все темные, черные силы ста-

рого мира — этого «безродного пса» истории, никогда столь явственно, столь воинственно-оголтело не заявляли о себе, не раскрывали своих черных замыслов, как в годы революции и гражданской войны.

Поэт истинный, народный не мог не увидеть, не запечатлеть в своих произведениях *новую* красоту действительности, рожденную революцией; не мог не сложить героической песни в честь великого похода восставшего народа; не мог он при этом остаться равнодушным и пройти мимо черных сил старого мира. Он был призван своим временем, совестью народной сказать о них — черных силах — такое слово, чтобы их черные дела, черные души обнажить до дна.

Вот почему особенно важно полнее раскрыть в стихах и поэмах Есенина объективную художественную правду.

При этом ни в коем случае нельзя сглаживать противоречия Есенина, нельзя выпрямлять его жизненный путь. Этого не следует делать даже при самых благих намерениях. Отнять у Есенина его противоречия, приглушить драматизм его поэзии, умолчать о некоторых его произведениях, а другие, наоборот, выпятить — это значит обокрасть и поэта, и самих себя!

Понять и раскрыть объективный характер противоречий Есенина, выявить и проследить главную тенденцию, главную линию развития его поэзии, показать, почему и как Есенин приходит от «Инонии» и «Сорокоуста» к «Анне Снегиной», «Руси Советской», «Песни о великом походе», наконец, представить в истинном свете отношение поэта к Октябрьской революции и «проявить» подлинный характер народности и гражданственности его стихов — вот важнейшие из проблем, которые возникают, когда мы ведем разговор о Есенине, его творчестве, судьбе поэта.

* * *

Еще в работах, опубликованных в 50-х годах, нами была отмечена очевидная научная несостоятельность различного рода вульгарно-социологических суждений и концепций о Есенине, особенно об отношении поэта к Октябрьской революции; обращено внимание на исто-

рическую неправомерность категорического противопоставления творческой и гражданской позиции Есенина и Маяковского в первые годы Советской власти и показано, что Маяковский, Блок, Есенин с их яркой художественной индивидуальностью — каждый сказал свое вдохновенное слово о революционной России *, что каждому из трех поэтов был ненавистен повергнутый восставшим народом в прах старый порядок. При всем идейно-художественном своеобразии их произведений они были едины в главном: в неподдельной тревоге за судьбы революционной России и ненависти к ее врагам **.

Зовущие зори Октября озарили есенинскую поэзию новым светом. Есенин был одним из тех русских писателей, которые с первых дней Октября открыто встали на сторону восставшего народа ***.

Судьба Родины, народа, особенно многомиллионной массы русского крестьянства в бурную революционную эпоху, — вот что волнует поэта, вот что прежде всего определяет идейно-художественное своеобразие, сильные и слабые стороны стихотворений и поэм Есенина, написанных им в 1917—1918 годах ****. В дальнейшем от утопического «мужицкого рая» на земле в «Инонии» Есенин пришел в «Анне Снегиной» к реалистическому изображению сложного пути русского крестьянства в революции, сумел создать яркие драматические характеры *****.

Эти положения и идеи, выдвинутые и разработанные нами в пятидесятые годы, в дальнейшем, в шестидесятых-семидесятых годах, получили одобрение и поддержку многих писателей, критиков, литературоведов.

---

* См.: Ю. Л. Прокушев. Поэзия Великого Октября. — В сб.: 40 лет Великой Октябрьской социалистической революции, кн. II. М., изд-во Высшей партийной школы при ЦК КПСС, 1957, с. 390—446.

** См.: Ю. Л. Прокушев. Родина и революция в творчестве Есенина. — Альманах «Литературная Рязань», кн. 2. Рязань, изд-во «Приокская правда», 1957, с. 257—288. См. также: Ю. Прокушев. Поэт и революция. Рязань, «Приокская правда», 1957, 15 сентября, с. 2—3.

*** Там же, с. 273.

**** Там же.

***** См.: Ю. Прокушев. Сергей Есенин. М., «Знание», 1958.

«Для всякого, прочитавшего книгу Прокушева, — писал в 1972 году В. О. Перцов, — становится ясно, что у Есенина свой угол в том «треугольнике», который составляет основу русской поэзии Октябрьской революции: Блок — Маяковский — Есенин» *.

Однако старые концепции оказываются порой еще живучими. Так, сравнительно недавно автор одной из книг о Есенине, в которой предпринята попытка пересмотреть ряд важнейших датировок произведений поэта, разбирается стиль Есенина, язык его стихов, вводится новый биографический материал, сделал прямо-таки сенсационное «открытие», заявив, что поэт... «участвовал в монархическом заговоре в Царском Селе, когда там не было уже ни царя, ни царицы, но группировались и готовили монархический переворот верные царю слуги. 14 декабря (по старому стилю) поэт принимает в Царском Селе в Федоровском государевом соборе клятвенное обещание на верность царю» **.

Правда, вскоре после выхода книги автор ее публично в письме в редакцию журнала «Вопросы литературы» заявил, что он считает «своей ошибкой использование этого документа в первой своей книге. Именно поэтому, — указывал он далее, — я снял вопрос о присяге и связанные с ней высказывания во всех последующих работах о Есенине, а также в монографии «Сергей Есенин», которая готовится мною к печати» ***.

Опубликовано это письмо было не случайно. За «клятвенное обещание на верность царю», якобы свидетельствующее о близости поэта к «царистским, клерикально-монархическим кругам», автор книги ошибочно принял текст обыкновенной солдатской воинской присяги, к которой солдат-санитар Есенин был приведен еще до революции ****.

Сняв «документ» о «клятвенном обещании», автор

---

* В. О. Перцов. Путь поэта. — «Литературная газета», 1972, 28 июня, с. 5.

** П. Юшин. Поэзия Сергея Есенина 1910—1923 годов. Изд-во Московского университета, 1966, с. 227.

*** П. Юшин. Письмо в редакцию. — «Вопросы литературы», 1969, № 3, с. 256.

**** Подробней об этом см.: В. Вдовин. Документы следует анализировать. — «Вопросы литературы», 1967, № 7, с. 188—195.

книги «Сергей Есенин» * по-прежнему ведет в ней разговор о «царистских настроениях» поэта накануне и в первые годы революции. При этом он решительно противопоставляет Есенина не только Маяковскому, Бедному, Серафимовичу, которые «как свою встретили революцию» **, но и А. Блоку, В. Брюсову, А. Белому, которые «приветствовали ее, хотя и по-разному» ***. По его мнению, даже «клюевская революция определенней есенинской» ****. В первом издании своей книги П. Юшин шел еще «дальше» в этом вопросе: он весьма категорично пытается «опровергнуть» широкоизвестное заявление Есенина в автобиографии «О себе» (октябрь 1925 года) об отношении к революционным событиям в России. «Его заявление — «в годы революции был всецело на стороне Октября», — указывает он в своей книге о Есенине, — не соответствует действительности» *****. Как видим, под сомнение берется главное: гражданская позиция Есенина в годы революции, отношение поэта к Великому Октябрю.

Подобные рецидивы старых «концепций» двадцатых годов не случайны.

Долгое время вопрос о месте в истории советской литературы Есенина оставался, по сути дела, открытым. Примечательно в этом плане свидетельство одного из знатоков истории советской литературы, доктора филологических наук Виктора Осиповича Перцова, который в 1954 году, накануне II съезда советских писателей, справедливо отмечал: «В 1955 году исполняется тридцать лет со дня смерти Есенина... с лучшим в нем читатель не расстается, помнит, любит, с болью вспоминает о трагедии Есенина, хотя, может быть, и не все понимает в ней. *Так почему же нет до сих пор в нашей критике* определенной точки зрения на место Есенина в истории советской литературы? (подчеркнуто мной. — *Ю. П*).

---

* П. Ф. Юшин. Сергей Есенин. Изд-во Московского университета, 1969.

** Там же, с. 218.

*** Там же.

**** Там же, с. 224.

***** П. Юшин. Поэзия Сергея Есенина 1910—1923 годов. Изд-во Московского университета, 1966, с. 225.

Я к вам приду
                    в коммунистическое далеко,
не так,
          как песенно-есенинный провитязь...

«Не так» — верно! Но почему же в нашей критике нет ответа: как? Как приходит в «коммунистическое далеко» Есенин?» *

Что затрудняло, что мешало нашей критике ответить в те годы на этот вопрос, решительно отбросив старые представления и концепции, возникшие при жизни Есенина и весьма основательно «закрепленные» после смерти поэта вульгарно-социологической критикой в сознании читателей и литературной общественности?

Методологически в теоретическом плане литературная наука и критика пятидесятых годов была подготовлена к научному рассмотрению и решению подобных исследовательских проблем. К этому времени были успешно преодолены различного рода субъективистские, мелкобуржуазные, вульгарно-социологические и иные суждения и концепции, возникавшие в пору становления советской литературы и формирования литературной критики социалистического реализма. Многое было сделано для глубокого научного осмысления и освещения важнейших этапов развития советской литературы, творчества крупнейших писателей, для подлинно ленинского отношения к классическому наследию.

Что касается Есенина, то трудности, и притом во многом объективные, состояли в ином. Долгое время жизнь и творчество поэта, его богатейшее литературное наследие находились практически вне поля зрения нашей критики и литературоведения. Не было ни научной биографии поэта, ни летописи жизни Есенина, ни монографических исследований его творчества: текстологическая работа по подготовке научного собрания сочинений поэта до середины 50-х годов не велась, выходили лишь изредка небольшие сборники его стихов. Совершенно неизученным оставалось рукописное наследие поэта. Многие автографы Есенина, особенно его ранних стихов и писем, были неизвестны. Достаточно сказать,

---

* В. Перцов. Писатель и новая действительность. М., «Советский писатель», 1958, с. 11.

что до середины 50-х годов не были введены в нашу литературоведческую науку такие, ныне широкоизвестные автографы Есенина, как его письмо Максиму Горькому, статьи о Брюсове и сборниках пролетарских писателей, «Предисловие» к сборнику стихов 1924 года, заметки Есенина о Глебе Успенском, рукопись киносценария «Зовущие зори», автографы стихотворений «Ночь...», «Капли», «У могилы», «Поэт», «Форма», письма Есенина другу юности — Григорию Панфилову, Галине Бениславской, письма из Европы и Америки, ряд кратких автобиографических заметок поэта *.

В течение длительного времени в печати появлялись, да и то крайне редко, лишь отдельные статьи и заметки о Есенине, чаще всего носящие информационный характер. Были годы, когда в литературоведческих трудах и периодической печати о поэте, его творчестве почти не говорилось **.

С 1930 по 1954 год (практически за четверть века!) появилось несколько есенинских публикаций и заметок о работе Есенина над стихами, несколько мемуарных материалов, статья о родине поэта — селе Константинове, ряд газетных и журнальных статей о поэзии Есенина, включая три вступительные статьи к сборникам

---

* Все эти автографы и ряд других рукописей Есенина, а также неизвестные ранее материалы, касающиеся жизни и творчества поэта, были открыты и разысканы нами в государственных, а также ряде личных писательских архивов в Москве, Ленинграде, Баку, Тбилиси, Вологде, Калинине, на родине поэта в Рязани и Константинове и опубликованы впервые в работах о Есенине в 1955 году и в последующие годы (см. Ю. Прокушев. Сергей Есенин (литературные заметки и публикация новых материалов). — Альманах «Литературная Рязань», 1955, кн. 1, с. 312—345; Новое о Сергее Есенине. — В сб.: «День поэзии». М., 1956, с. 118—124; Родина и революция в творчестве Есенина. — Альманах «Литературная Рязань», 1957, кн. 2, с. 257—288; Юношеские годы Сергея Есенина. — «Огонек», 1957, № 2, с. 26—28; Сергей Есенин. М., «Знание», 1958, с. 40; Сергей Есенин. М., «Правда», библиотека «Огонька», 1960, с. 47; Новое о Есенине. — В сб.: «День поэзии». М., 1962, с. 278—282; Есенин в типографии Сытина. — «Огонек», 1963, № 22, с. 12—14; Десять автографов поэта. — В сб. «День поэзии». М., 1965, с. 238—243; Есенин, каким он был. — «Огонек», 1965, № 40, с. 8 — 9 и др.).

** См.: Е. Л. Карпов. С. А. Есенин. Библиографический справочник. М., «Высшая школа», 1972, с. 102—108.

избранных стихов Есенина, которые вышли в 1934, 1940, 1953 годах.

К выступлениям, в которых была предпринята попытка авторов отказаться от «старых» вульгарно-социологических оценок творчества Есенина и выявить объективное содержание его поэзии, следует отнести статьи Ал. Дымшица (1940) *, Б. Бурсова (1940) **, С. Павлова (1940) ***, В. Перцова (1945) ****, К. Зелинского (1953) *****.

Есенин прожил короткую яркую жизнь. Всего тридцать лет! Более половины из них он провел на родине, в рязанском крае. Здесь глубинные корни народности и реализма поэзии Есенина, истоки демократизма и гражданственности его творчества.

Есенину было 19 лет, когда он впервые появился в Петрограде.

Три десятилетия после смерти поэта оставался совершенно неосвещенным, неизученным ранний период его жизни и творчества: годы его детства и юности в родном селе Константинове, пребывание и учеба в Спас-Клепиках, работа в типографии Сытина, учеба в университете Шанявского, участие в Суриковском кружке, связь с революционным движением рабочих печатников ******.

Все сказанное выше позволяет нам сегодня лучше

---

* Ал. Дымшиц. Сергей Есенин (вступительная статья). — В кн.: С. Есенин. Стихотворения. М., 1940. «Библиотека поэта». Малая серия, с. 3—52.

** Б. Бурсов. С. Есенин. Стихотворения. — «Литературный современник», 1940, с. 26—30.

*** С. Павлов. С. Есенин. Стихотворения. — «Литературное обозрение», 1940, № 11, с. 26—30.

**** В. Перцов. Сергей Есенин. — «Литературная газета», 1945, 20 октября.

***** К. Зелинский. Сергей Есенин. — В кн.: С. Есенин. Стихотворения. «Библиотека поэта». Малая серия. Изд. 2-е. Л., 1953, с. 5—52.

****** Впервые в литературе о Есенине этот период жизни поэта получил освещение в работах о Сергее Есенине, опубликованных нами в 1955—1965 годах (см.: Ю. Прокушев. Сергей Есенин (литературные заметки и публикации новых материалов). — Альманах «Литературная Рязань», 1955, кн. 1, с. 213—345; Юношеские годы Сергея Есенина. — «Огонек», 1957, № 2, с. 26—28; Сергей Есенин. М., изд-во «Правда», библиотека «Огонька», 1960, с. 47; Юность Есенина. М., «Московский рабочий», 1963, с. 191 и др.

понять и представить себе, почему долгие годы оставалось так много «белых пятен» на поэтическом есенинском материке; почему оказались столь живучими различного рода «легенды» о Есенине и столь однобоко освещенной в литературе судьба поэта; почему еще в середине пятидесятых годов вопрос о месте Есенина в истории советской литературы оставался открытым; почему к этому времени в нашей критике и литературоведении не были глубоко исследованы такие важнейшие проблемы, как поэт и Октябрьская революция, художественный метод Есенина, характерные черты народности, реализма его стихов, особенности поэтики, гуманизм, гражданственность, мировое значение Есенина.

В результате многолетнего изучения литературного наследия Есенина, его жизни, творчества эти и ряд других проблем были разработаны и освещены в монографических исследованиях, книгах и статьях, опубликованных мной в 1955—1977 годах *.

В этих работах получает свое дальнейшее развитие и всестороннее исследование *выдвинутая мной впервые*

---

* Кроме работ, указанных выше, см. также: Ю. Прокушев. Поэзия С. Есенина в наши дни (актуальные проблемы есениноведения). — В сб.: Сергей Есенин (исследования, мемуары, выступления). Юбилейный сборник. Под общ. ред. Ю. Л. Прокушева. М., «Просвещение», 1967, с. 5—23; Поэтическое сердце России. — В кн.: Есенин и русская поэзия. Отв. ред. чл.-корр. АН СССР В. Г. Базанов. Л., «Наука», 1967, с. 19—28; Сергей Есенин в 1918 г. — Альманах «Прометей». М., 1967, с. 313—319; Сергей Есенин (поиски, находки). М., изд-во «Правда», библиотека «Огонька», 1968, с. 47; Россия — моя поэзия. — «Известия», 1970, 2 октября; Дело для меня очень важное... — «Огонек», 1970, № 40, с. 24—25; Сергей Есенин. М., «Детская литература», 1971, с. 190; Время Есенина. — «Москва». М., 1973, № 4; Сергей Есенин. Поэт. Человек. М., «Просвещение», 1973, с. 236; Есенин, какой он был. М., изд-во «Правда», библиотека «Огонька», 1973, с. 64; Есенин в Баку. — «Огонек», 1973, № 52; Есенин в Америке. — «Огонек», 1973, № 12, с. 26—28; Два мира. С. Есенин на Западе. — «Молодая гвардия», 1974, № 6, с. 301—317; Пушкин и Есенин. — «Огонек», 1974, № 41, с. 24—26 и № 42, с. 12—13; Подвиг Пушкина. М., изд-во «Правда», библиотека «Огонька», 1974, с. 61; Через каменное и стальное. — В сб.: Есенин и современность. Под ред. В. Базанова и Ю. Прокушева. М., «Современник», 1975, с. 67—91; Сергей Есенин. Образ. Стихи. Эпоха. — М., «Московский рабочий», 1975, с. 325; Судьба поэта. М., изд-во «Правда», библиотека «Огонька», 1976, с. 47; Вечный образ. — М., «Знание», 1977, с. 68; Россия — моя поэзия. — М., Воениздат, 1977, с. 341 и др.

в середине пятидесятых годов концепция о Есенине — великом советском русском национальном поэте, открыто вставшем в 1917 году на «сторону Октября»; поэте, который в 20-е годы вместе с Маяковским, Блоком, Демьяном Бедным выступил как один из основоположников советской поэзии, зачинателей литературы социалистического реализма. Этим прежде всего определяется место Есенина в истории советской литературы, в сегодняшней действительности; этим определяется вклад Есенина в мировую поэзию XX века.

* * *

Впервые эта концепция была изложена нами в своих главных, основных чертах и моментах в публичной лекции «Творчество Есенина» в 1955 году.

Это было в Рязани...

Это была первая публичная лекция о Есенине на его родине, первая за тридцать лет!

Это был, по существу, и первый литературный вечер на рязанской земле, посвященный светлой памяти поэта в дни его шестидесятилетия. После лекции с исполнением произведений Есенина выступил мастер художественного слова, народный артист РСФСР Николай Федорович Першин *.

Память бережно хранит все, что связано с этим вечером: и неброскую черно-белую афишу, приглашающую почитателей есенинского таланта в связи с шестидесятилетием со дня рождения поэта, и взволнованную толпу людей у входа в лекторий — тех очень многих рязанцев, кому не хватило билетов (хотя выступления о Есенине в тот день повторялись дважды), и переполненный еще до начала зал. Ни одного свободного места. Всюду люди: и вдоль стен, и в проходах, и в дверях.

* Н. Ф. Першин — один из выдающихся и талантливейших артистов жанра художественного слова, один из тех, кто активно и настойчиво утверждал этот жанр на эстраде, кто стремился донести до широкой аудитории звучащее слово советской литературы, особенно поэзии, — очень много сделал для того, чтобы, читая стихи Есенина со сцены, раскрыть все богатство его поэзии; он, несомненно, был одним из лучших исполнителей произведений поэта.

Но особенно памятна тишина. Казалось, зал замер, затаил дыхание. И так почти в течение всего вечера — звенящая в ушах тишина, настороженная, напряженная, озаренная. Я никогда не забуду этого притихшего зала. Не забуду, как по окончании вечера тишина буквально раскололась от грома аплодисментов и радостных приветствий, которые в те прекрасные, светлые минуты были обращены к великому поэту России, к его стихам, проникнутым сыновней любовью и гражданской верностью матери-Родине.

Сколько раз после этого довелось мне за прошедшие двадцать лет выступать на литературных вечерах, встречах, научных конференциях, посвященных Есенину: в Москве и Ленинграде, Баку и Киеве, Тбилиси и Иркутске, Калинине и Орле, Воронеже и Брянске, Вологде и Туле и вновь в Рязани, читать лекции, дискутировать со студентами и преподавателями многих наших вузов, а также выступать в аудиториях Варшавского, Ягеллонского, Пражского, Римского университетов. Многое в этих встречах памятно, многое дорого и сегодня. Но тот первый, после многолетнего молчания, публичный разговор о творчестве Есенина в Рязани 9 октября 1955 года, та первая незабываемая и волнующая встреча «лицом к лицу» с земляками поэта сохранятся в памяти навсегда.

Ныне, когда огромными тиражами выходят трехтомные и пятитомные собрания стихотворений Есенина, когда издаются десятки однотомников поэта, когда опубликованы сотни статей и ряд книг о его творчестве, когда и в школьных и в вузовских программах и учебных планах Есенин прочно занял подобающее ему место, когда созданы кинофильмы и телепередачи о поэте, его жизни, когда написаны сотни музыкальных произведений на стихи Есенина, когда произведения самого поэта, романсы и песни современных композиторов на стихи Есенина почти ежедневно звучат по радио, телевидению, с эстрады, когда в селе Константинове — родине поэта — открыты мемориальный и литературный музеи, когда выходит новое шеститомное собрание сочинений поэта, — многим, вероятно, будет трудно, да и просто почти невозможно представить, что переживали тогда и чувствовали все мы — участники того первого,

конечно же, очень скромного по нынешним масштабам есенинского вечера, состоявшегося более двадцати лет назад в небольшом зале рязанского городского лектория. А кое-кто в наши дни, возможно, вообще подумает и скажет: а что тут особенного? Нет! Было особенное! Тому памятному рязанскому вечеру суждено было стать одной из первых ласточек рождающегося в те незабываемые, золотые осенние дни 1955 года подобающего отношения к памяти и судьбе Есенина как великого поэта.

Именно тогда не только на родине Есенина, в Рязани, но и в Москве прошли впервые за долгие годы есенинские литературные вечера, посвященные 60-летию со дня рождения поэта. Они состоялись 3 октября в Государственном литературном музее и 6 октября в Большом зале Политехнического музея, там, где когда-то выступали Маяковский, Блок, Есенин.

Попасть на эти вечера было почти невозможно. В них приняли участие известные советские поэты Степан Щипачев, Сергей Васильев, Александр Яшин, Сергей Смирнов, современники Есенина — писатель Лев Никулин, журналист Петр Чагин, поэт Василий Казин, литературовед К. Л. Зелинский. С воспоминаниями о своем брате в литературном музее выступила сестра поэта Александра Александровна Есенина. Зал стоя взволнованно и радостно приветствовал ее долгими, бурными аплодисментами. Тогда же на вечере в литературном музее произнес свое памятное, окрыленное слово о Есенине большой друг советской литературы, известный прогрессивный турецкий поэт Назым Хикмет. Говорил он по-русски, говорил от души, от сердца. Хорошо помню эту речь Хикмета, которую тогда мне удалось записать почти дословно:

«Товарищи! Когда я сюда пришел, то докладчик сказал, что мой приход — это еще одно подтверждение признания Есенина. Я думаю, что Есенин не нуждается ни в этом, ни в других подтверждениях. Он один из величайших поэтов мира, он один из честнейших поэтов мира...

Товарищи! У Есенина не было легковой машины, а у меня есть машина и водитель Алексей Николаевич, очень хороший русский человек. Он был на фронте. Когда он ведет машину, он читает стихи Есенина. Он и

на фронте читал стихи своим товарищам. Есенин всегда был с советским народом. Есенин был со всеми народами мира, которые любят жизнь, любят красоту и честность. Он большой поэт... Я надеюсь, что мы соберемся еще в Колонном зале».

Прошло не так уж много времени, и это пожелание сбылось. Торжественное заседание, посвященное 70-летию Есенина, проходило, как известно, именно в Колонном зале!

После 1955 года пробудился и исследовательский интерес к творчеству Есенина. Активизации этого процесса способствовала начавшаяся в эти годы подготовка к выпуску пятитомного Собрания сочинений Сергея Есенина *.

В конце пятидесятых, а затем в шестидесятые годы публикуется ряд содержательных статей и исследований о поэте, выходят отдельные книги, посвященные его жизни, творчеству.

Прежде всего здесь следует назвать имена таких литературоведов и критиков, как К. Зелинский, Е. Наумов, А. Дымшиц, А. Кулинич, И. Эвентов, А. Жаворонков, В. Перцов, С. Кошечкин, Н. Хомчук, П. Выходцев. Они в эти годы одними из первых обратились к наследию Есенина.

Несомненно, пятидесятые и особенно шестидесятые годы стали поворотными для всей будущей судьбы Есенина, для истинно народного и по-настоящему гражданского звучания его поэзии в наши дни.

Значительно усиливается и углубляется процесс изучения жизни, творчества Есенина в семидесятые годы. В Ленинграде и Рязани проводятся научные конференции, посвященные Есенину. Расширяется круг литера-

* Нам довелось вместе с другими литературоведами, текстологами, редакторами, принимать участие в работе над этим Собранием сочинений Есенина, с самого начала: разрабатывать и обсуждать основные принципы, проспект издания; вместе с Е. А. Есениной — сестрой поэта, составлять, комментировать, готовить к печати первый том Собраний сочинений Сергея Есенина в пяти томах, которое было выпущено Государственным издательством художественной литературы в 1961—1962 годах тиражом полмиллиона экземпляров. Желающих подписаться, как заявили тогда книготоргующие организации, было значительно больше — около десяти миллионов!

туроведов и критиков, которые исследуют творчество поэта, его жизнь (В. Коржан, В. Базанов, А. Марченко, П. Юшин, С. Гайсарян, Е. М. Галкина-Федорук, А. Ломан и др.).

В 1965 году, в дни семидесятилетия Есенина, на его родине был открыт мемориальный музей.

Вероятно, за всю свою долгую историю старинное русское село Констинтиново не знало ничего подобного.

Это трудно передать словами. Это надо было видеть!

В тот памятный день — 2 октября 1965 года — с утра шли и ехали в Константиново люди. Иные из них добирались пароходом, иные поездом, иные на попутной машине. Их не остановили ни бездорожье, ни плохая погода. Среди них были известные всей стране поэты и те, кто только еще мечтал напечатать свои первые стихи.

Рязанцы и москвичи, южане и сибиряки, ленинградцы и горьковчане — все они собрались на родине Есенина со всех концов России, собрались, чтобы в простой деревенской избе открыть музей великого поэта.

Здесь, на рязанской земле, отшумело озорное детство поэта, прошла его юность, здесь он написал свои первые стихи:

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

И мог ли тогда кто представить, что пройдут годы и этот рязанский паренек станет поэтическим сердцем России.

В двенадцать часов дня тысячи людей замерли в торжественной тишине. Перерезана алая лента у калитки дома Есениных: музей открыт. Первыми входят в дом сестры поэта — Екатерина и Александра Есенины.

Здесь все как было когда-то, в те далекие годы. Вспоминаются стихи:

Изба крестьянская,
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет...

Веет домашним теплом и уютом. Тикают часы, поблескивает на столе самовар. Чистая, светлая горница очень мала и, конечно, не может вместить сразу всех желающих.

А погода между тем окончательно испортилась. Ветер ураганной силы (такого не помнят константиновцы) пронизывает до костей, сбивает с ног. В такое ненастье на улице обычно ни души. А тут — тысячи людей! И никто не уходит.

Если бы все это мог видеть Есенин!

Когда-то, все больше понимая сердцем, что вокруг него на селе «кипит» иная жизнь, слушая, как задорно поет над долом «крестьянский комсомол» «агитки Бедного Демьяна», Есенин с тревогой и грустью думал:

Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

То были горькие минуты одиночества. Лишь одно тогда врачевало душу, успокаивало сердце:

Пускай меня сегодня не поют, —
Я пел тогда, когда был край мой болен...

До позднего вечера шли люди к «низкому дому с голубым ставнями», чтобы поклониться родному очагу поэта. Пришли в Константиново они и на другой день — 3 октября (более трех тысяч человек!), а затем шли во все октябрьские дни, шли в ноябре и январе, в марте и июне... И будут идти туда всегда, как идут в Михайловское к Пушкину, в Тарханы к Лермонтову, на Волгу к Некрасову...

* * *

Время Есенина — время крутых поворотов в истории России.

От Руси полевой, патриархальной, уходящей в прошлое, от России, ввергнутой царизмом в пучину мировой войны, к России революционной, России ленинской, России Советской — таков путь, пройденный поэтом вместе со своей Родиной, своим народом.

Далеко не каждый из писателей того времени твердо устоял на палубе корабля — России, когда разразилась

революционная буря. Вспомним Алексея Толстого и его роман-эпопею об утраченной и вновь обретенной Родине. Вспомним трагедию Бунина...

Есенин не только прекрасно знал жизнь крестьянской России, он был сыном этой России, болел ее болями, радовался ее радостями, всем сердцем и умом он был с крестьянской, демократической Русью в эпоху крушения старого, буржуазного мира и рождения нового, революционного — все это объективно способствовало тому, что он смог стать истинно народным, национальным поэтом и в ярких реалистических произведениях сказать *свое правдивое слово о главных революционных событиях своей эпохи.*

* * *

Более полувека живет неповторимое есенинское песенное слово, более полувека волнует нас судьба поэта. Казалось бы, все, о чем рассказывает Есенин в стихах, он рассказывает о себе. Но за личной судьбой поэта встает его время, его эпоха. И не только его время, но и наше время. Великий поэт всегда наш современник. Из своих двадцатых годов Есенин незримо, но и неодолимо шагнул в наш день и дальше — в будущее.

Я счастлив,
В сонме бурь
Неповторимые я вынес впечатленья.
Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканое цветенье.

Вот она, истинная судьба поэта! Щедрая, дерзкая, тревожная, полная драматических раздумий, сомнений, радости, света... И как же эта сказочно-легендарная судьба поэта в действительности далека от разного рода «романов без вранья» и «легенд», «творимых» при жизни и особенно после смерти Есенина многочисленными «вспоминателями» и «знатоками»; как эта судьба в действительности возвышенно-чиста и прекрасна...

НЕ УБЕРЕГЛИ!

Быть поэтом — это значит тоже,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.

Сергей Есенин

— Вот один из моих аспирантов. Любит и знает хорошо романы Толстого, но, не скрою от вас, Софья Андреевна, главное увлечение его — поэзия, стихи Маяковского, Блока, Есенина... Пришел ко мне на консультацию.

Так, как всегда, очень тактично, с хорошей, доброй улыбкой мой научный руководитель Константин Николаевич Ломунов, ныне известный толстовед, доктор, профессор, а тогда, в сорок девятом году, ученый секретарь музея Льва Толстого, представил меня внучке великого писателя — директору музея. Мы находились в ее небольшом, уютном кабинете...

Вы спросите, при чем тут внучка Толстого? Какая может быть связь между встречей с ней и Есениным? Самая прямая! Софья Андреевна Толстая была женой Сергея Александровича Есенина в последний год его жизни. При ней Есенин готовил к изданию свое собрание сочинений. Она активно помогала ему. После смерти поэта Софья Андреевна отдала много сил увековечиванию его памяти. Вместе с сестрой Есенина Екатериной Александровной она сумела собрать воедино значительную часть есенинского архива. Позднее она написала комментарий к стихам и поэмам Есенина, которым в настоящее время широко пользуются исследователи творчества поэта. Тогда же Софья Андреевна составила очень умно и точно небольшой томик Есенина.

— Не сразу удалось мне напечатать этот томик, — рассказывала мне позднее Софья Андреевна. — Я никак не могла пробиться в издательство. В конце концов я решила пойти к Калинину. Я помнила, с какой

теплотой говорил мне Сергей о встрече с Калининым на родине Михаила Ивановича, в Тверском краю. Калинин меня принял хорошо. Живо интересовался делами толстовского музея. Во время беседы я сказала Михаилу Ивановичу, что никак не могу издать стихи моего мужа — поэта Сергея Есенина. Он задумался, долго молчал, словно что-то вспоминая, а возможно, что-то решая для себя в эти минуты... Потом посмотрел на меня «заговорщицки» и как-то очень по-доброму сказал: «Не унывайте! Есенина будут издавать». Радостно мне было услышать от Михаила Ивановича и то, что он, Калинин, лично Есенина, его стихи любил всегда и полагает, что современным нашим поэтам есть чему у Есенина поучиться. Михаил Иванович оказался прав, — продолжала Софья Андреевна. — Через некоторое время, в сороковом году, вышел сборник Есенина с вступительной статьей Александра Дымшица. Мне же мой томик Есенина удалось выпустить лишь после войны, в сорок шестом году.

Правда, напечатать и тогда Есенина директору Издательства художественной литературы Петру Ивановичу Чагину, одному из замечательных бакинских друзей Сергея, — заметила Софья Андреевна, — было далеко не просто. Страна только что вышла из тяжелейшей войны. Много было других неотложных забот. Вновь помог Михаил Иванович Калинин. Тогда же при его поддержке был решен положительно вопрос о пенсии Татьяне Федоровне — матери поэта.

Да! Какой милый (это было любимое слово Толстой) и какой отзывчивый человек был Михаил Иванович Калинин. И какой мудрый! Настоящий народный президент. — Голос Софьи Андреевны звучал взволнованно и сердечно. — Я всегда буду благодарна ему за Сергея.

Пятьдесят семь тысяч экземпляров — таким тиражом, по тем временам довольно значительным, был издан томик Есенина, подготовленный С. А. Толстой-Есениной.

Как и другие, кому посчастливилось тогда, в сороковые годы, заполучить в руки этот есенинский томик, храню я его с любовью, как первую ласточку многих будущих послевоенных изданий Есенина.

После первого знакомства мне посчастливилось неоднократно встречаться, откровенно, по душам беседовать с Софьей Андреевной и в музее, и у нее дома, в Померанцевом переулке. В одной из комнат этой большой квартиры жил несколько месяцев Сергей Есенин. Отсюда в конце декабря двадцать пятого года он уехал в Ленинград. Еще седьмого декабря он направил одному из своих ленинградских знакомых — молодому поэту Эрлиху — телеграмму с просьбой подыскать «две-три комнаты». Эрлих не сумел найти. Есенин остановился в гостинице «Англетер». Там трагически оборвалась жизнь поэта...

Со временем Софья Андреевна Толстая познакомила меня со своим архивом. Произошло это вот при каких обстоятельствах.

— Я прочитала и «Литературную Рязань», и «День поэзии». И хорошо вижу, куда вы, Юрий Львович, стучитесь. По сути дела, ведь впервые за все эти годы после смерти Есенина о нем публикуется так много новых материалов. Думаю, что они заставят взглянуть на Есенина, его жизнь и творчество, по-иному, — заметила Софья Андреевна в одну из наших встреч, в конце пятьдесят пятого года.

— Нет, вы не зря проводили время в архивах, не зря жили на родине Есенина. Вам удалось увидеть Есенина таким, каким он был на самом деле. То, что вы опубликовали, мне особенно дорого, как память о Сергее, — и ранние его стихи, и чудесная статья Сергея о Брюсове, и его взволнованные письма к Горькому, Чагину, Гале Бениславской, и все остальное... Многое вспомнилось. И наша поездка с Сергеем к его родителям в Константиново, и время, которое мы провели вместе на Кавказе, у бакинских друзей, и мои первые встречи с Есениным.

Несколько минут мы молчали. Я думал о том, как порой невероятно складываются людские судьбы.

Крестьянский сын, дед которого помнил крепостное право, а отец испытал на себе все тяготы и невзгоды жизни в беднейшем, малоземельном рязанском крае, — и внучка графа, дед и отец которого владели сотнями крепостных душ, графа, семейная ветвь которого уходила в глубь веков...

Казалось бы, что может быть между ними общего? Ведь их родословные были классово полярны. Не говоря уже о совершенно различных условиях воспитания и жизни в годы детства и юности. И все-таки они встретились! Что это? Простая случайность или парадокс? А может, это символично? И им самой историей России суждено было встретиться: поэту «золотой бревенчатой избы», которого всегда «томила, мучила и жгла» судьба крестьянской Руси, всегда волновало ее прошлое, настоящее и будущее; и внучке великого писателя, до которого «в русской литературе не было настоящего мужика» и который всегда чувствовал себя заступником «стомиллионного русского крестьянства».

Кто знает...

В эти же минуты Софья Андреевна, вероятно, вспомнила особенно дорогие и незабываемые для нее страницы короткой, трагической жизни Есенина. И, как бы вслух продолжая эти свои воспоминания, она сказала несколько неожиданно для меня:

— Однажды я была со своими литературными друзьями в «Стойле Пегаса». Тогда об этом литературном кафе имажинистов много говорили. Вот мы и решили как-то под вечер отправиться туда. Нам явно повезло: и вскоре после нашего прихода стихи начал читать Есенин.

О Есенине, вокруг имени которого уже в те годы стали складываться самые разноречивые «легенды», я слышала до этого. Попадались мне и отдельные его стихи. Но видела я Есенина впервые. Какие он тогда читал стихи, мне трудно сейчас вспомнить. Да и не хочу я фантазировать. К чему это?.. Память моя навсегда сохранила с той поры другое: предельную обнаженность души Есенина, незащищенность его сердца...

После «Стойла Пегаса» мне довелось еще несколько раз слышать выступления Есенина, читать в журналах его стихи, статьи о нем. Но личное мое знакомство с ним произошло позднее...

На квартире у Гали Бениславской, в Брюсовском переулке, где одно время жили Есенин и его сестра Катя, как-то собрались писатели, друзья и товарищи Сергея и Гали. Был приглашен и Борис Пильняк, вместе с ним пришла я. Нас познакомили. Пильняку ку-

да-то надо было попасть еще в этот вечер, и он ушел раньше. Я же осталась. Засиделись мы допоздна. Чувствовала я себя весь вечер как-то особенно радостно и легко. Мы разговорились с Галей Бениславской, с сестрой Сергея Катей. Наконец я стала собираться. Было очень поздно. Решили, что Есенин пойдет меня провожать. Мы вышли с ним вместе на улицу и долго бродили по ночной Москве...

Эта встреча и решила мою судьбу. Вскоре Есенин уехал на Кавказ... Через несколько месяцев, весной 1925 года, я вышла за него замуж, а в декабре Сергея Александровича не стало. Что я тогда пережила... Страшно подумать!..

Видно было, даже и теперь, через много лет, Софье Андреевне очень тяжело вспоминать те дни.

— Ведь и я, возможно, по своей молодости, как, к сожалению, и другие, близкие и друзья Сергея, тогда что-то недопоняла, недоглядела. Это так. Нельзя было его одного отпускать в Ленинград, хотя он и настаивал на этом, решительно заявив, что поедет один. Не уберегли! С каждым годом я все мучительнее и мучительнее думаю об этом.

Я молчал, взволнованный услышанным, понимал, что Софье Андреевне когда-то надо было сказать об этом.

Подумалось и о другом: сколько людей согревали свои сердца у чудесного поэтического есенинского костра! И как часто они были, к сожалению, невнимательны к Есенину-человеку. Я высказал эти мысли об одиночестве Софье Андреевне.

— Возможно... Возможно, это и так. Хотя все это непросто и все это страшно тяжело мне вспоминать, — тихо заметила она. — Но было и то, — голос ее неожиданно зазвучал по-другому, — ради чего стоило и жить, и волноваться, и... страдать. Те неповторимые мгновения, когда на моих глазах рождались новые произведения великого поэта России, и мне их посчастливилось слышать первой! «Хочу вам прочитать новую вещь», — часто говорил он. Помню, как еще в начале нашего знакомства, приехав с Кавказа, он пришел ко мне с Иваном Приблудным, принес свои «Персидские мотивы» и читал их всю ночь. Я безумно люблю «Персидские мотивы» Сергея. Когда они вышли отдельным

изданием, он мне их подарил с таким веселым, озорным автографом:

Милая Соня,
Не дружись с Есениным.
Любись с Сережей,
Ты его любишь.
Он тебя тоже.

Весной двадцать пятого года, — продолжала Софья Андреевна, — Есенин в журнале «Красная новь» напечатал свою поэму «Анна Снегина». Радостный, он пришел ко мне с номером журнала, еще пахнущим типографской краской. Раскрыл журнал и начал читать:

Село, значит, наше — Радово,
Дворов почитай — два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места...

И прочитал... всю поэму. Я сидела не шелохнувшись. Как он читал! А когда кончил, передавая журнал, сказал улыбаясь: «Это тебе за твое терпение и за то, что так хорошо слушала». Я открыла журнал. На странице, где поэма начиналась, вверху рукой Есенина было написано: «Милой Соне. С. Есенин».

Слушать новые вещи Сергея было интересно еще и потому, что он почти всегда в них, как художник и мыслитель, открывался неожиданно, с какой-то совершенно новой стороны, даже для тех, кому казалось, что хорошо знают его поэзию. На самом же деле его поэтический горизонт был безграничен, как сама жизнь. Хорошо помню, — рассказывает Софья Андреевна, — как я была удивлена, когда впервые услышала от Сергея его стихотворение «Неуютная жидкая лунность...», особенно последние три заключительных строфы:

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.

И, внимая моторному лаю,
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.

Да, подумала я тогда, как далеко и вместе с тем, казалось бы, совсем неожиданно для него заглядывает Сергей в стальное будущее России. Вот тебе и «последний поэт деревни».

Пробыл я у Софьи Андреевны почти весь день. Когда я собрался уходить и стал прощаться с ней, Софья Андреевна подарила мне фотографию, на которой была снята вместе с Есениным.

— Это вам на добрую память.

«Разрешаю Ю. Л. Прокушеву использовать по своему усмотрению в печати все материалы и фотоснимки, сделанные с моих материалов, касающихся жизни и творчества мужа моего — поэта С. А. Есенина. С. Толстая-Есенина», — прочитал я, к немалому радостному удивлению, на обороте фотографии.

— Это на будущее. Чтобы вы спокойно могли работать с материалами моего архива. (Позднее я не раз с благодарностью вспоминал эту предусмотрительность Софьи Андреевны.) Меня, — продолжала она, — нынче все чаще тревожат с моим архивом. Желающих много. Но я каждый раз откладывала свое окончательное решение. Все, что касается памяти Есенина, слишком для меня свято. Да и знаю я, что архивный документ можно истолковать по-разному. Все зависит от того, какие руки к нему прикоснутся.

Через несколько дней я вновь появился у Толстой.

— Посмотрите прежде всего эту папку, — сказала мне доверительно Софья Андреевна.

Раскрыв папку, я потерял дар речи. Вы поймете почему. В ней находились автографы Есенина, бесценные рукописные странички его стихов и писем. Трудно было справиться с охватившим меня волнением. Ведь каждый новый автограф, каждая ранее неизвестная рукопись — это новая, счастливая встреча как бы с самим поэтом. Как много «тайн» открыли они мне,

— Я очень хорошо понимаю вас, — видя мое состояние, заметила дружески Софья Андреевна. — Я ведь и сама до сих пор не могу спокойно прикасаться к рукописям Сергея. Я редко делаю это. Каких душевных, нравственных сил стоили Сергею каждое стихотворение, каждая строчка! Я отлично это знаю. Как крик души вырвалось однажды у Сергея: «Осужден я на каторге чувств вертеть жернова поэм...» Да, это была «каторга чувств». Вот видите эту страничку? Она лучше всяких слов расскажет вам об этом.

Это была испещренная авторской правкой рукопись заключительных строф «Черного человека»:

...Месяц умер,
Синеет в окошке рассвет.
Ах ты ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою,
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...

С каким волнением держал я впервые в своих руках этот черновой автограф, позволяющий зримо увидеть, как создавался окончательный вариант драматической поэмы Есенина:

«Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его
В переносицу...

— Как ни странно, — задумчиво произнесла Софья Андреевна, — но мне приходилось, к сожалению, слышать и даже у кого-то читать, что «Черный человек» писался чуть ли не в состоянии опьянения, в каком-то бреду. Какой это вздор, какая дремучая обывательщина! Взгляните еще раз на этот черновой автограф. Как жаль, что он не сохранился полностью. Ведь «Черному человеку» Сергей отдал так много сил. Написал несколько вариантов поэмы. Последний создавался здесь, в этой комнате, в ноябре двадцать пятого года.

Два дня напряженной работы. Сергей почти не спал. Закончил — сразу прочитал мне. Было страшно. Казалось, разорвется сердце. И как досадно, что критикой «Черный человек» не раскрыт... А между тем я писала об этом в своих комментариях. Замысел поэмы возник у Сергея в Америке. Его потряс цинизм, бесчеловечность увиденного, незащищенность человека от черных сил зла. «Ты знаешь, Соня, это ужасно. Все эти биржевые дельцы — это не люди, это какие-то могильные черви. Это «черные человеки».

— Мысли эти, — заметил я Софье Андреевне, — ярко выражены Есениным и в «Стране негодяев». Помните монолог комиссара Рассветова? Далеко сумел заглянуть Есенин в черное будущее Америки рокфеллеров еще тогда, в двадцать третьем году:

...Места нет здесь мечтам и
химерам,
Отшумела тех лет пора.
Все курьеры, курьеры, курьеры.
Маклера, маклера, маклера...
На цилиндры, шапо и кепи.
Дождик акций свистит и льет.
Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жулье.
Если хочешь здесь душу
выржать,
То сочтут: или глуп, или пьян.
Вот она — мировая биржа!
Вот они — подлецы всех стран.

Я думал о том огромном моральном, нравственном напряжении, о тех колоссальных эмоциональных перегрузках, которые всегда испытывают душа и сердце истинного художника. Как поразительно точны есенинские стихи:

Быть поэтом — это значит тоже,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.

«ОН — ВЫ»

«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».

Сергей Есенин

12 апреля 1961 года... Памятный, исторический день. Человек планеты Земля в космосе! «Юрий Гагарин понял: он уже почти облетел вокруг земного шара, и он рассказывал, как вспомнились ему строки из стихотворения о Ленине «Капитан земли»:

Он — рулевой
И капитан,
Страшны ль с ним
Шквальные откосы?
Ведь собранная
С разных стран,
Вся партия — его
Матросы.

Космический корабль нес идеи Ленина вокруг всей Земли...» *. И управлял этим космическим кораблем Страны Советов один из «матросов» партии Ленина — коммунист Юрий Алексеевич Гагарин...

«Капитан земли» был создан Есениным в январе 1925 года. Стихотворение это выдержало испытание временем и стало в наши дни хрестоматийным. Но прежде чем оно было написано, прежде чем в сердце художника возник образ Ленина — «капитана и рулевого» гигантского космического корабля, имя которому «Планета Земля», — Есенину, поэту и человеку, предстояло совершить свой поэтический взлет, свой новаторский поиск; преодолеть, подобно космонавтам, свои огромные эмоционально-творческие перегрузки, покорить свой космос.

---

* «Правда», 1961, 23 апреля.

Сойди, явись нам, красный конь!
Впрягись в земли оглобли.
. . . .
Мы радугу тебе — дугой,
Полярный круг — на сбрую.
О, вывези наш шар земной
На колею иную.

То была дерзко окрыленная мечта, рожденная революционным взрывом России в исторические октябрьские дни 1917 года.

Вселенский, космический характер событий октябрьской эпохи захватывает душу, воображение поэта. Торжественно, призывно звучат многие есенинские стихи первых революционных лет.

«Небесный барабанщик» и «Пантократор», «Инония» и «Кантата», «О Русь, взмахни крылами...», «Разбуди меня завтра рано...» и другие стихи и поэмы Есенина 1917—1919 годов — это первые и художественные и мировоззренческие «завязи» его будущих историко-революционных произведений; это проба сил поэта, призванного Историей, Временем, Родиной воссоздать образ вождя революции. В стихах поэта пока еще остается, по существу, без ответа, наиглавнейший вопрос — кто в Октябре 1917 года повел «Корабль-Россию» сквозь революционные бури и потрясения, каков он, этот прозорливый и бесстрашный «капитан и рулевой», которому было предназначено историей повернуть «шар земной» к новому, социалистическому берегу.

Земля — корабль!
*Но кто-то** вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво.

Это, конечно, не значит, что сын трудовой крестьянской Руси Сергей Есенин, с первых дней революции вставший «на сторону Октября», не чувствовал, не ощущал в 1917—1919 годах ведущей, организующей силы большевиков-ленинцев.

И чувствовал и ощущал: более того, настойчиво

* Курсив мой. — *Ю. П.*

тянулся, пусть пока больше стихийно, чем сознательно, к правде большевиков. Иначе не родились бы в сердце поэта еще в 1918 году крылатые революционные строки:

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.

Иначе не сказал бы поэт о себе в 1919 году с явно полемическим запалом:

Говорят, что я большевик.
Да, я рад зауздать землю...

Иначе не собрался бы Есенин в 1919 году вступить в Коммунистическую партию *.

Иначе не проявлял бы Есенин с первых лет рево-

---

* «В начале 1919 года, — рассказывает журналист Георгий Устинов, в те годы сотрудник «Правды», — он (Есенин. — *Ю. П.*) однажды робко приносит мне на стол записку, написанную мелким прямым почерком, так похожим на почерк М. Горького. Это было заявление С. Есенина о его желании вступить в партию большевиков, «чтобы нужнее работать».

— Напиши, пожалуйста, рекомендацию... Я, знаешь ли... я понял... и могу умереть хоть сейчас.

— Тогда, — замечает Устинов, — с коммуниста это спрашивалось в первую очередь. В эти огненные годы нужна была полная готовность умереть за Советскую власть, за коммунизм, чтобы быть революционером. Других революционеров партии не знала.

— Нет, Сергей, в партию тебе... зачем?

— А стихи?

— Давай попробуем...

И Сергей Есенин пишет слабоватое (!!! — *Ю. П.*), но зато «вдребезги» «революционное» стихотворение «Небесный барабанщик». Я в то время был заведующим редакцией московской «Правды» и при нем, при Есенине, написал на уголке стихотворения: «По-моему, годится». А впрочем, подожди, говорю, что скажут другие члены редколлегии». И послал стхотворение Н. Л. Мещерякову. Тот возвратил стихотворение тут же с такой надписью: «Нескладная чепуха. Не пойдет. Н. М.».

— Ну как... насчет заявления?

— Подожди... Надо подумать...» (Георгий Устинов. Сергей Есенин и его смерть. — «Красная газета», вечерний выпуск. Л., 1925, 29 декабря).

Вольно или невольно, но и Устинов и Мещеряков не поддержали поэта в очень важную для него пору.

люции постоянного, неослабевающего со временем интереса к личности Ленина. Примечательны и важны в этом плане воспоминания литератора Петра Авдеевича Кузько. Еще в 1915 году он в газете «Кубанская мысль» напечатал статью о Есенине «Поэты из народа» — один из первых печатных откликов на стихи молодого рязанского стихотворца. В годы становления Советской власти П. А. Кузько работает в Народном комиссариате продовольствия. В Петрограде в 1918 году он встречается с Есениным. Вскоре между ними устанавливаются добрые, дружеские отношения. П. А. Кузько неоднократно видел В. И. Ленина, слушал его выступления. «По характеру своей работы в Комиссариате продовольствия, — рассказывает П. А. Кузько, — я уже побывал раза два или три в Смольном — в Совнаркоме, где мне посчастливилось близко видеть и слышать великого Ленина. Я не мог не поделиться с Сергеем Александровичем своей радостью.

Он с большим интересом стал расспрашивать меня: как выглядит Ленин, как говорит, как держится с людьми? Я ему рассказал о Ленине все, что сам мог тогда подметить во время напряженных деловых заседаний...

Нужно сказать, — продолжает П. А. Кузько, — что о поэзии мы в то время разговаривали очень мало, а если и говорили, то только о стихотворениях Есенина.

Темой наших разговоров в это время были Октябрьская революция, ее значение и, конечно, Ленин...

Одной из постоянных тем нашего разговора была также продовольственная политика Наркомпрода... Есенин не всегда понимал жесткую продовольственную политику большевиков, его очень тревожило положение страны — голод, разруха».

Чем яростнее интервенция, блокада, разруха обрушивали свои жестокие удары на молодую Республику Советов, тем сильнее охватывают ум и сердце поэта тревожные чувства и мысли, полные душевного смятения; тогда-то и рождаются трагические строки «Сорокоуста»:

Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях, —
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.

От восторженно-романтических иллюзий в «Инонии», «Пантократоре» о «мужицком рае» на земле не осталось и следа. Что ждет Россию в будущем? Неужели вновь, как во времена Разина и Пугачева, рухнут надежды крестьянской Руси на свободу и землю?! Поэт испытывает мучительные сомнения и раздумья. «Мне очень грустно сейчас, — пишет Есенин в 1920 году, — что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал...» Позднее, в «Письме к женщине», Есенин скажет об этом времени и о себе:

Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий...

Как и всей молодой многонациональной советской поэзии, Сергею Есенину, одному из ее основоположников, в те годы еще предстояло глубоко и всесторонне прочувствовать и уяснить до конца объективную неизбежность колоссальных трудностей на пути трудовой России к социализму, а главное — осмыслить философски, с социально-классовых позиций всемирно-исторические деяния Ленина, коммунистов, осмыслить для того, чтобы в будущем вместе с Горьким, Маяковским и другими зачинателями советской литературы открыть художественно ленинскую тему, воссоздать образ Ленина — нового героя революционной эпохи.

Мужественно и честно преодолевая противоречия самой действительности, освобождаясь, порой мучительно-напряженно, от предрассудков и заблуждений субъективного характера, Сергей Есенин с каждым годом все сознательнее, все настойчивее пытается как художник и гражданин «постигнуть в каждом миге коммуной вздыбленную Русь». Поэт стремится в своем творчестве — стихах и поэмах — ответить прежде всего на самый главный для крестьянской Руси вопрос: когда же в конце концов и кто даст крестьянину-труженику долгожданное право «владеть землей» и пахать ее для себя «весь век»; и еще: перестанет ли наконец «мужик» быть «разменной монетой» и «забавной игрушкой»

в руках различного рода меньшевистских, эсеровских и прочих «защитников» и «вождей» крестьянства.

Пройдет всего пять лет с момента «Сорокоуста» — но каких!!! — и Сергей Есенин в «Анне Снегиной» как художник и мыслитель расскажет об огромной вере России крестьянской в Ленина — «старшого комиссара» Советской власти, — о том, какою силой вождь революции сумел «потрясть шар земной» и «вздыбить всю нашу планету».

Характерна и впечатляет художественно одна из «ключевых», вершинных сцен «Анны Снегиной» — сцена широкого эпического дыхания и истинной народности, когда радовские мужики настойчиво «пытают» своего земляка, героя поэмы, о самом главном и насущном для них в революции:

«...Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,
Что землю не троньте,
Еще не настал, мол, миг.
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других?»

И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и в глаза,
А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».

Еще в 1915 году юный рязанский поэт резко и определенно высказался о той духовной, нравственной, социальной «пропасти», которая фактически разделяла крестьянскую Русь и таких ее «защитников», как народники, даже при самых добрых намерениях с их стороны. «Идеализация народничества 60-х и 70-х годов, — отмечает Есенин, — мне представляется жалкой пародией на народ. Прежде всего там смотрят на крестьянина, как на забавную игрушку. Для них кресть-

янин — это ребенок, которым они тешатся, потому что к нему не привилось еще ничего дурного».

Ленин, большевики впервые в истории крестьянской Руси посмотрели на «мужика» как на человека и, более того, как на единственно реального и надежного союзника рабочей России в пролетарской революции. Вот что приводит Есенина вместе с трудовой крестьянской Русью к правде Ленина, к новому революционному берегу; вот что дает поэту гражданское и моральное право столь определенно и торжественно говорить о подлинно народной политике вождя Октябрьской революции и действительной защите Лениным кровных интересов русского крестьянства.

«Он — вы». Эта предельно лаконичная, афористическая фраза полна глубочайшего внутреннего смысла. Она свидетельство подлинного историзма, подлинного понимания поэтом в годы создания «Анны Снегиной» народного характера Ленина, народности его политики, взглядов, свидетельство подлинной связи вождя революции с широкими трудящимися массами.

«Он — вы». Это и ответ героя «Анны Снегиной» крестьянам, и в еще большей степени ответ поэта самому себе. Это великое открытие поэтом для себя сути, существа Ленина, его революционного дела, его бессмертных идей.

Именно этим открытием, этим высочайшим гражданским убеждением — «он — вы» — проникнуты и «Песнь о великом походе», и «Баллада о двадцати шести», и «Поэма о 36», и другие произведения поэта.

Словно высеченные на века в граните есенинские строки о Ленине в «Анне Снегиной» вызывают в памяти прежде всего бессмертные строки Владимира Маяковского:

Партия и Ленин —
близнецы-братья —
кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим Ленин,
подразумеваем —
партия,
мы говорим
партия,
подразумеваем —
Ленин.

Чем пристальнее вглядываемся мы в образ Ленина, созданный Сергеем Есениным, тем полнее открываются нам видимые и невидимые точки его «стыковки» с Лениниаиой Владимира Маяковского.

Но вернемся к Есенину, к познанию поэтом революционной действительности. Отбушевал пожар гражданской войны. 1921 год — начало новой экономической политики. Для Есенина этот год прежде всего год «Пугачева». В истории борьбы крестьянской России с царизмом, в прошлом Есенин пытается разглядеть ее настоящее и будущее. При этом главное для Есенина — сам Пугачев как вождь крестьянской, восставшей России, как народный характер и как личность.

«...Есть одна особенность в моей трагедии, — отмечал Есенин. — Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не появляется, в каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева».

Но и «Пугачев» не врачует душу поэта, не снимает мучительнейших его раздумий и тревог: «Куда несет нас рок событий?»

В этот период у Есенина рождается новый творческий замысел, чрезвычайно важный для всего последующего пути поэта к ленинской теме. «Есенин, — рассказывает литератор Иван Старцев, близко знавший поэта в те годы, — долго готовился к поэме «Страна негодяев», всесторонне обдумывая сюжет и порядок событий в ней. Мысль о написании этой поэмы появилась у него тотчас же по выходе «Пугачева». По первоначальному замыслу поэма должна была широко охватить революционные события в России с героическими эпизодами гражданской войны. Главными действующими лицами в поэме должны быть Ленин, Махно и бунтующие мужики на фоне хозяйственной разрухи, голода, холода и прочих «кризисов» первых лет революции. Он мне, — продолжает И. Старцев, — читал тогда же набросанное вчерне вступление к этой поэме: приезд автора в глухую провинцию метельной ночью на постоялый двор, но аналогичное по схеме начало в «Пугачеве» его смущало, и он этот отрывок вскоре уничтожил. От этого отрывка осталось у меня в памяти сравнение поэта с синицей, которая хваста-

лась, но моря не зажгла. Обдумывая поэму, он опасался впасть в отвлеченность, намереваясь подойти конкретно и вплотную к описываемым событиям, ссылаясь на «Двенадцать» Блока, он говорил о том, как легко надорваться над простой с первого взгляда и космической по существу темой. Поэму эту он так и не написал в ту зиму и только уже по возвращении из-за границы читал из нее один отрывок. Первоначальный замысел этой темы у него разбрелся по отдельным вещам: «Гуляй-поле» и «Страна негодяев» в существующем тексте».

Есенин не только читает друзьям, но и печатает в начале 1925 года один из «ударных» отрывков поэмы в своей книге «Страна Советская». Отрывок этот, ныне широкоизвестный монолог комиссара-большевика Никандра Рассветова, полон страстной, вдохновенной ленинской веры в будущее России социалистической. Вот его начало:

Чем больше гляжу я на снежную ширь,
Тем думаю все упорнее.
Черт возьми!
Да ведь наша Сибирь
Богаче, чем желтая Калифорния.
С этими запасами руды
Нам не страшна никакая
Мировая блокада.
Только работай! Только трудись!
И в республике будет,
Что кому надо.

Все это, включая и дальнейшую работу Есенина над «Страной негодяев», — все это ждало поэта впереди.

Все это свершится позднее...

Тогда же, в 1921 году, Есенин особенно мучительно и настойчиво пытается разобраться и определиться в «развороченном бурей быте», разобраться в те дни, когда Россия даже иным писателям-фантастам виделась лишь «во мгле». Именно в этот напряженный период впервые у Есенина возникает мысль о зарубежной поездке. Сравнить, сопоставить путь, избранный Россией в октябре 1917 года, с жизнью современного Запада, сравнить, сопоставить для того, чтобы яснее «прозреть» будущее своей Родины.

В мае 1922 года поэт в Берлине. В 1922—1923 го-

дах он побывал в Германии, Франции, Италии, посетил Америку. Его общественная, гражданская позиция предельно ясна и определенна. «Я люблю Россию. Она не признает никакой иной власти, кроме Советской», — заявил Есенин открыто, со всей политической ясностью в своем первом зарубежном интервью.

Поэт особенно был потрясен царящей на Западе духовной нищетой, полнейшим безразличием «сильных мира сего» к судьбам миллионов простых людей — к Человеку.

«После того, — рассказывает сестра поэта Екатерина Александровна Есенина, — как Сергей побывал за границей, особенно в Америке, он на многое в своей стране стал смотреть иными глазами. Заграница, буржуазный мир Европы и Америки произвели на него потрясающее впечатление. Этот мир наживы, разврата, господства доллара наглядно дал Сергею возможность увидеть, что бы стало с его Родиной, если бы в России продолжал развиваться и дальше капитализм. За границей Сергей до глубины души ощутил и почувствовал, как далеко шагнула Россия после революции в духовном росте народа. И пусть пока еще Европа богаче нас материально, но духовно она нищая по сравнению с нами. Это, — подчеркивает Екатерина Александровна, — было главное впечатление, которое Сергей вынес из заграничной поездки. Об этом же он писал в своих письмах из Европы и Америки» *.

«Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? — спрашивает Есенин в одном из своих зарубежных писем. — Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде Господин доллар, а на искусство начихать — самое высшее мюзик-холл...

Пусть мы нищие, — продолжает поэт, — пусть у нас голод, холод... зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину».

«Там, из Москвы, — отмечает Есенин в другом пись-

---

* Цитирую по записи беседы с Е. А. Есениной 28 августа 1957 года.

ме, — нам казалось, что Европа — это самый обширнейший рынок распространения наших идей в поэзии, а теперь, отсюда, я вижу: боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет еще такой страны и быть не может».

Поездка на Запад помогла Есенину окончательно утвердиться в великой исторической правде Ленина, в том, что ленинский путь Октября — объективно единственно возможный и реальный путь России в будущее.

«После заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому».

«Зрение мое переломилось, особенно после Америки».

«Доволен больше всего тем, что вернулся в Советскую Россию».

«В нашем литературном строительстве со всеми устоями на советской платформе...»

Подобные высказывания характерны для Есенина по возвращении на Родину.

Советская новь, и деревенская и городская, все убедительнее теперь отвечала на вопрос, еще недавно, в годы гражданской войны и военного коммунизма, так неотступно тревоживший поэта и многих его соотечественников: «Куда несет нас рок событий?»

Взор поэта все чаще обращается теперь к Ленину, все очевидней для Есенина, что России ленинской нужны иные песни:

Мы многое еще не сознаем,
Питомцы ленинской победы,
И песни новые
По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды.

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Как откровение, как итог неустанных бескомпромиссных поисков поэтом высшей истины в годы революции звучит взволнованный голос Есенина в его зарубежном очерке «Железный Миргород»: «...Я еще

больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам, как романтик в моих поэмах, — я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве».

С именем Ленина, с политикой коммунистов связывает отныне поэт прежде всего и те огромные социальные сдвиги, изменения, которые на его глазах происходили в жизни русского крестьянства. «Знаешь, — рассказывал Есенин в те годы писателю Юрию Либединскому, — я сейчас из деревни... А все Ленин! Знал, какое слово надо сказать деревне, чтобы она сдвинулась. Что за сила в нем, а?» *

И вдруг страшный удар обрушился на душу поэта! Умер Владимир Ильич Ленин. Перестало биться сердце великого Капитана Земли.

В траурные ленинские дни Есенину открылась картина безмерного человеческого горя, народной скорби и единения.

«Мы, родные, — вспоминала сестра поэта Екатерина Александровна Есенина, — буквально не узнавали Сергея, так он был потрясен кончиной Ленина и всем происходящим в стране. Особенно он был потрясен и весь, в буквальном смысле слова, перевернут посещением Колонного зала, где был установлен гроб с телом В. И. Ленина. На второй или третий день смерти Ленина близкий друг нашей семьи Софья Виноградская, работавшая в те годы в «Правде», принесла Сергею и мне пропуск в Колонный зал. Все трое мы отправились туда под вечер. Пройдя в Колонный зал, мы встали в группу людей, стоящих чуть поодаль от ленинского гроба. Пробыли мы у гроба Ленина более часа. Все это время Сергей хранил глубокое молчание. Молчал он и по пути домой, и дома. Горе поглотило все его силы.

В дни ленинского траура поэты, каждый в меру своего таланта, откликнулись на смерть вождя. Есенин молчал. А когда кто-нибудь из редакций газет и журналов просил его при встрече или по телефону: «Давайте напишите стихи о Ленине», — он отвечал всем ко-

---

* Ю. Н. Либединский. Мои встречи с Есениным. — Воспоминания о Сергее Есенине. М., «Московский рабочий», 1965, с. 375—376.

ротко и одинаково: «Я не могу». И это не случайно. Он чувствовал невозместимость потери. Кто же заменит Ленина, да и можно ли его заменить. Судьбы страны, судьбы России, ее будущее без Ленина, борьба оппозиции против партии — все это глубоко волновало Есенина» *.

«Это то горе, которое не оплакать», — скажет Есенин в дни смерти Ленина. Вот почему «не могу» откликнуться быстро, «не могу» написать стихи сейчас, сегодня. Но «не могу» не думать о всем виденном и пережитом в траурные студеные январские дни, «не могу» не размышлять вновь и вновь над воплощением замысла поэмы, который уже давно зрел в уме и вынашивался в сердце. Теперь, в дни смерти Ленина, первоначальный замысел «проявляется» окончательно. Есенину ясно, что это прежде всего должна быть поэма о Ленине, вожде революции и Человеке, что все должно быть подчинено художественному раскрытию этой главной идеи.

Именно об этом говорят нам прежде всего автографы ленинской поэмы Сергея Есенина, варианты и наброски отдельных ее строф и строк, часть из которых сохранилась до наших дней. Автографы эти дают ясное, наглядное представление о том, сколь напряженным был труд поэта над ленинской темой, сколь настойчиво смелы были поиски Есениным наиболее точных, емких, неповторимых слов, выразительных штрихов, художественных деталей, позволяющих новаторски воссоздать образ вождя революции и его эпоху. Не только «немые» свидетели — автографы, но и современники поэта единодушно отмечают творческую энергию и целеустремленность Есенина в работе над ленинской поэмой. Еще в 50-х годах нам довелось беседовать по этому поводу с сестрой поэта Екатериной Александровной Есениной.

«Над поэмой «Гуляй-поле» Сергей работал много и упорно, — рассказывала она. — Кроме письменных вариантов, были и устные. Эти устные варианты он читал Галине Бениславской. Она высказывала замечания.

* Цитирую по записи беседы с Е. А. Есениной 28 августа 1957 года.

Мне тоже довелось слышать эти варианты. Что касается довольно большого отрывка «Но что там за туманной дрожью?..», который не вошел в поэму, вернее, в ту часть, что была напечатана, то, возможно, он был написан позднее, но, возможно, как вы и предполагаете, Юрий Львович, раньше, а затем отброшен Сергеем. Замысел поэмы у Сергея в процессе работы углублялся и расширялся. После заграницы все больше и больше его влечет «суровый гений» Ленина. Особенно это волнение, это влечение к легендарной ленинской фигуре усиливаются у Сергея после смерти Владимира Ильича Ленина» *.

О постоянном стремлении Есенина как можно больше впитать в свою память живых рассказов тех, кому посчастливилось встречаться с Владимиром Ильичем Лениным, говорит в комментариях к произведениям поэта его жена Софья Андреевна Толстая-Есенина. Она подчеркивает, что «Есенин относился к Владимиру Ильичу с глубоким интересом и волнением. Часто и подробно расспрашивал о нем всех лиц, его знавших, и в отзывах его было не только восхищение, но и большая нежность».

Об этом же свидетельствует Д. К. Богомильский, принимавший участие в выпуске альманаха «Круг», в одном из номеров которого Есенин впервые опубликовал отрывок о Ленине из «Гуляй-поля»: «Я рассказал ему (Есенину. — *Ю. П.*), когда и при каких обстоятельствах я впервые увидел живого Ленина: это было в начале декабря 1911 года в Париже, на кладбище Пер-Лашез, у Стены коммунаров, во время похорон Поля и Лауры Лафарг — зятя и дочери Карла Маркса, когда Владимир Ильич произнес речь на французском языке от имени РСДРП. Есенин очень заинтересовался моим рассказом.

Отрывок из поэмы «Гуляй-поле» — «Ленин» Есенин читал у меня по рукописи до его напечатания» **.

---

* Цитирую по записи беседы с Е. А. Есениной 28 августа 1957 года.

** Д. К. Богомильский. Есенин и издательство артели писателей «Круг». — В сб.: Воспоминания о Сергее Есенине. М., «Московский рабочий», 1965, с. 341—342.

Есенин в процессе работы над ленинской поэмой читал ее неоднократно своим друзьям и товарищам по литературному цеху, как бы вновь и вновь проверяя себя. Иван Грузинов, присутствовавший на одной из таких «проверок», вспоминает: «Есенин читает долго. Поэма была почти вся сделана, осталось обработать некоторые детали. Есенин утверждал, что через несколько дней поэма будет готова полностью».

Чем больше и больше углублялся Есенин в свою поэму о вожде, тем требовательнее относился к тому, что им уже было сделано. Судя по сохранившимся автографам, в целом ряде случаев он решительно отказывается от почти завершенных кусков и строф будущей поэмы.

«Отрывок из «Гуляй-поля». Так называл Есенин, судя по всему, свой первый поэтический отклик на смерть В. И. Ленина. Завершенный тематически и «закольцованный» композиционно, этот отрывок воспринимается как целостное стихотворение — могуче, эпически звучащий реквием вождю революции:

Плач несознательный досаден,
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден,
Того, что жил — уж больше нет,
Его уж нет, кто шел со славой,
За счастье угнетенных масс,
Кто речью гордой, чуть картавой,
Как сокрушающею лавой,
Вселенную до недр потряс...
Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.

. . . .

Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром,
И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришел.

. . . .

Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.

Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите все в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет».
. . . .
И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен...

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.

Сергей Есенин

Авторская подпись как бы подчеркивает, что это — законченное произведение. Так поэт обычно помечал свои беловые автографы. Если бы Есенин не создал ничего другого о Ленине, то отрывок «Плач несознательный досаден...», конечно же, вошел бы в художественную Лениниану как яркое, самобытное стихотворение.

Этот отрывок несомненно — результат настойчивых поисков автора. Мы можем судить об этом и по черновым автографам отдельных его строф. И хотя это лишь самые изначальные варианты, своего рода первая проба сил, они помогают нам «заглянуть» в творческую лабораторию художника и представить «зримо» рождение отдельных строф и строк будущей ленинской поэмы Есенина:

Надгробный плач нам стал досаден,
Не стонет колокол церковный
Почил безбожник, но герой
По всей стране набат
И не стало.

Данный набросок первой строфы записан на большом чистом листе бумаги. Другие, «промежуточные» варианты не сохранились. Кто знает, сколько их было, и устных и письменных, прежде чем появился окончательный вариант:

Плач несознательный досаден,
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден,
Того, что жил — уж больше нет.

Забегая вперед, заметим, что в дальнейшем, публикуя впервые отрывок ленинской поэмы, Есенин исключает из текста эту фактически уже готовую строфу. Исключает для того, чтобы избежать повтора, а главное — чтобы усилить эмоциональное воздействие другой строфы, схожей с первой, но по мысли более глубокой и образно более впечатляющей:

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден,
Того, кто спас нас, больше нет.

Другой сохранившийся черновой автограф «Отрывка из «Гуляй-поля» — это почти готовая строфа с единственной авторской поправкой, но очень существенной, уточняющей важную мысль. Первоначально одна из строк была записана Есениным в такой редакции:

На поприще имперских...

Затем он зачеркнул слово «имперских» и вверху, над ним, написал «крестьянских бед», а вся строфа в окончательной редакции выглядела так:

Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.

Несмотря на серьезную авторскую работу над «Отрывком из «Гуляй-поля» и его очевидную завершенность, Есенин не стал печатать этот отрывок. Почему? Что его сдерживало? Что не удовлетворяло его как поэта? Ответить на все эти вопросы нам помогают другие автографы ленинской поэмы Есенина. И прежде всего сохранившийся черновой автограф — «Повстанцы».

* * *

По мере того, как Есенин все больше и больше углублялся в работу над образом Владимира Ильича Ленина, тем все очевиднее, все яснее становится для поэта та непреложная истина, что в стихах и тем более в крупном эпическом полотне необходимо: и запечатлеть трагическую картину всенародной скорби, всенародного

горя России, до глубины души потрясенной смертью Ленина, и передать атмосферу могучего всенародного единения в траурные январские дни «Ильичевой Республики Советов»; и, конечно же, рассказать о времени Ленина, о великой эпохе Октября; и при этом самое главное, избегая голой риторики, суесловия, иллюстративности, воссоздать в художественном единстве образ Ленина — вождя и человека. Именно в таком направлении ведет поэт свой дальнейший творческий поиск. В этом убеждает и черновой автограф Есенина «Повстанцы», который после авторской доработки и правки почти весь был включен Есениным в окончательный текст его ленинской поэмы. В трех предельно сжатых, емких главках «Повстанцев»: «Еще закон не затвердел...» (I), «Кто милость сильных не искал...» (II), «Шуми и вей! Крути свирепей, непогода...» (III), уже многое было очень точно «схвачено», открыто поэтом принципиально и по мысли, и художественно для его будущей Ленинианы:

Еще закон не затвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Петушье пенье, песий лай
Уж десять лет не слышит поле.

Уж десять лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и долы.

Так масштабно-зримо, по сути дела, глобально и вместе с тем драматически сразу же вводит поэт нас в самую суть исторических событий революционной эпохи.

Не случайно именно этими строфами, «чуть-чуть» их доработав, Есенин в дальнейшем открыл свою ленинскую поэму. Правда, это было то, порой едва уловимое «чуть-чуть», которое у истинного художника завершает трудный, долгий путь рождения образа; то «чуть-чуть», после которого каждое слово в поэтической строке встает незыблемо на свое место — навечно. В самом деле, всего-то (!!!) и сделал поэт, что в окончательной редакции в первой строке вместо «не затвердел» поста-

вил «не отвердел», слово «десять» в двух строках заменил словом «сколько» да еще поменял местами две строки. Кажется, пустяк, а как изменился смысл *всех трех* строф, масштабность исторических событий, о которых идет речь, как возросла сила эмоционального воздействия, лирической напряженности всего отрывка. Вот как звучит он в окончательной редакции:

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и долы.

Тревога за судьбу Родины, за будущее России, гражданская, нравственная сила, глубина мысли, лаконизм, действенность этих строк поразительны. Они врываются в душу, в сердце как ураган. Трудно и, точнее, *невозможно,* читая их, оставаться лишь свидетелем событий, о которых только что вам поведал автор. Сразу становишься как бы их живым соучастником.

С каждой новой строкой «Повстанцев» перед нашим взором развертывается многоликая, заставляющая невольно вспоминать бессмертное «Слово о полку Игореве» картина гигантской революционной битвы за свободу, которая развернулась от края и до края на русской земле, охваченной пожаром гражданской войны.

Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?

Не сон! Не сон! Я вижу въявь,
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.

Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна
Иль всадник обронил подкову?

Все спуталось. Но понял взор:
Страну родную в край из края,
Огнем и саблями сверкая,
Междоусобный рвет раздор.

Читаешь эти наполненные живым дыханием революционного времени есенинские строки, и оживают в памяти невольно: и легендарный поход бойцов таманской армии — героев «Железного потока», и подвиг бесстрашного начдива Чапаева, и несгибаемая воля Павки Корчагина, и «прозрение» Любови Яровой, и «хождение по мукам» сестер Кати и Даши, и трагедия Григория Мелехова, и другие незабываемые образы, рожденные великой октябрьской бурей.

Еще совсем недавно (три-четыре года тому назад) поэту казалось, что «междоусобный раздор» гражданской войны погубит Россию, что все надежды, все мечты о будущем, порожденные революцией, рухнули окончательно. И оставалось лишь одно: петь, «как псаломщику», «над родимой страной аллилуйя». Вспомним такие его трагические стихи, как «Песнь о хлебе», «Мир таинственный, мир мой древний...», «Исповедь хулигана», «Я последний поэт деревни...»! Вспомним есенинского «Сорокоуста»!

Теперь взору поэта открылась главная правда революции — правда Ленина, а вместе с ней открылись и иные дали восставшей России. Впервые именно в «Повстанцах» во второй главе «Кто милость сильных не искал...» Есенин решается не только поставить со всей определенностью далеко не простой и праздный по тем временам вопрос: какою силою удалось Ленину потрясть «шар земной»? Он стремится теперь выразить свои чувства, свое *личное* отношение к Ленину, свои раздумья о великой роли этого Человека в судьбах России. Поэт ставит перед собой теперь и едва ли не самую трудную и сложную задачу, из тех, которые ему приходилось как художнику и гражданину решать в годы революции: рассказать о героизме и нарисовать не иконописный, а живой портрет человека, который сумел свер-

шить, казалось бы, человечески невозможное — «вздыбить всю нашу планету». Это и в самом деле была задача необычайной, гигантской художественной сложности. И не случайно вскоре после смерти Ленина один из талантливых поэтов, Николай Полетаев, не без полемического запала, но вместе с тем искренне, убежденно, с большой внутренней тревогой писал:

Портретов Ленина не видно,
Похожих не было и нет!
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет!

Образ Ленина, особенно его живой реалистический портрет, невозможно было запечатлеть и нарисовать с помощью таких традиционно-обычных потускневших «слов, скорлупок», как «пророк», «гений», «эра», «эпоха», «дар божий», «царственный вид». Новизна была ослаблена и обесценена их поэтической инфляцией.

Как же
Ленина
таким аршином мерить!
Ведь глазами
видел
каждый, всяк —
«Эра» эта
проходила в двери,
даже
головой
не задевая о косяк.
Неужели
про Ленина тоже:
«вождь
милостью божьей»! —

с нескрываемой тревогой, напряженно-мучительно размышлял Владимир Маяковский, рисуя *свой* ленинский портрет.

Особенно остро *все это* чувствовали те из писателей, кто имел великое счастье неоднократно встречаться и беседовать с Владимиром Ильичем Лениным:

«...Я думаю, — говорил со всей откровенностью Максим Горький еще в 1920 году, — что я *не найду,* хотя и считаюсь художником, *слов,* которые достаточно ярко очертили бы такую коренастую, такую сильную, огром-

ную фигуру. Ленин в политике велик, но в то же время, он реальный, земной, простой Человек» *. И далее, Алексей Максимович подчеркивает, что он знал Ленина в такие моменты, когда «не было у него ничего такого, чему мог бы удивляться весь мир... обычный простой русский человек, как каждый из нас. И вдруг, — подчеркивает Горький, — мы видим такую фигуру, глядя на которую, уверяю вас, хотя я и не трусливого десятка, но мне становится жутко. *Делается страшно от вида этого великого человека, который на нашей планете вершит рычагом истории, так как этого ему хочется»* ** (Курсив мой. — *Ю. П.*).

Каждому художнику, кто обращал свой взор к фигуре Ленина, предстояло преодолеть тот «страх», о котором говорил Горький; преодолеть своеобразный психологический барьер кажущейся «несовместимости», то состояние, когда «становится жутко», и поначалу никак не укладывается в сознание, что этот простой, как все, человек — величайший гений человечества, вождь угнетенных народов всего мира.

Сергей Есенин сумел сделать это в своем творчестве одним из первых. Уже в «Повстанцах» ему удалось *в главном*: решить эту архитрудную задачу: удалось органически «стыковать», слить в своем поэтическом видении и соединить воедино художественно образ «простого, застенчивого и милого» человека — «скромней из самых скромных» с образом человека глобально великого, «мятежника», потрясшего «шар земной». Черновые автографы позволяют нам хотя бы в некоторых важнейших моментах проследить и представить более конкретно, как «писался» ленинский портрет Есенина, как он постепенно складывался, вырастал и, наконец, затверждался окончательно в душе поэта. Основное, к чему при этом стремится Есенин: высветить такие черты ленинского характера, найти такие поэтические краски, такие слова, которые давали ему возможность выразить и передать с предельной лирической силой главное

* Максим Горький. Из речи на собрании в Московском комитете РКП(б) по поводу 50-летия со дня рождения В. И. Ленина, 1920 г. Цит. по сб.: Человек с большой буквы. М., изд-во «Современник», 1973, с. 40.

** Там же, с. 41.

в Ленине и прежде всего *величайшую ленинскую простоту,* его человечность, его особый, «почти совершенно лишенный внешнего блеска» героизм — героизм человека, вся сила которого в «мощном слове», в могучей яркой мысли, устремленной к великой цели: революционному освобождению и братству людей всей планеты. Но и Есенину все давалось не сразу:

Кто милость сильных не искал,
Тот шел всегда напропалую.
Мой поэтический запал
Я чту, как вольность удалую.

Такой строфой, очень приблизительно связанной с основной темой, в «Повстанцах» начиналась вторая главка. Эта довольно бойкая, но явно проходная строфа, естественно, не могла стать тем камертоном, который обычно дает настрой всей вещи. Вполне закономерно, что Есенин в дальнейшем довольно спокойно, без больших колебаний отказался от этой строфы?

За этой начальной строфой шла строфа, которую поэт, судя по автографу, переместил сюда из конца первой главки «Повстанцев».

Укр(аина)? страшный, чудный звон.
В деревьях тополь, в цветь-подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?

Дважды Есенин изменял и переправлял здесь первое слово первой строки, разобрать его точно в черновом автографе почти невозможно. Можно лишь допустить, что слово это — «Украина». Косвенно такое предположение подкрепляется авторской правкой второй строки, где первоначальную редакцию «в деревьях березь» поэт заменяет на «в деревьях тополь». Как известно, *тополь* неотделим от украинского пейзажа.

В окончательной редакции этой очень важной, опорной строфы Есенин вернулся к первоначальному варианту *второй ее строки* — «В деревьях березь». И тоже не случайно. Поэт внес очень существенную, принципиальную правку в первую строку, правку, связанную прежде всего со всем содержанием поэмы и уточнением в процессе работы над ней авторского замысла:

Россия —
Страшный, чудный звон.
В деревьях березь, в цветь-подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?

Так звучала, так выглядела графически эта строфа в окончательной редакции, так она вошла в поэму.

Наибольшее количество вариантов, наибольшую авторскую правку содержит третья строфа второй главки «Повстанцев», несущая едва ли не самую большую идейно-смысловую нагрузку. В ней Есенин *впервые* попытался по-своему искренне, исповедально, как он это умел делать в своих лирических стихах, непосредственно выразить *свое личное* отношение к Ленину, показать чем он *лично* ему, Есенину, дорог и близок, чем покорил его душу, чем волнует его сердце:

Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.

Это был первоначальный вариант. В нем — все правда. Но сложны, порой почти необъяснимы умозрительно, пути и перепутья творческого процесса, рождения того или иного неповторимого художественного образа, той или иной гениальной строки. Трудно объяснить, но Есенин начинает править этот прекраснейший вариант и притом явно не самым лучшим образом. Появляется новый вариант:

Задорный гений! Он меня
Влечет по всей своей фигуре,
Он, ловко вспрыгнув на коня...

Здесь все надуманно и звучит фальшиво, все — неправда. Начиная от «задорного (!!!) гения» и кончая образом Ленина — ловкого кавалериста. Очевидно, Есенину подумалось, что он уж слишком «опростил», заземлил образ Ленина, вот он и решил «приподнять» его! Произошло это, несомненно, не без влияния множества стихов, появившихся в то время, авторы которых свою искреннюю любовь к Ленину выражали прежде всего, к сожалению, тем, что наделяли его образ

всеми положительными чертами вождя-сверхгероя, забывая при этом о главном — Ленине-человеке.

К счастью, Есенин вскоре почувствовал всю неестественность, надуманность сделанной им в строфе правки и вернулся, теперь уже окончательно, к первоначальному ее варианту. «Ключ» к открытию ленинского образа — своего, неповторимого, есенинского — был найден. Свободно, раскованно, легко рождались одна за другой следующие строфы. Буквально с каждой новой не только строфой, но и строкой открывались дорогие и близкие каждому из нас черты ленинского портрета. Судите сами. Вот эти стихи, которые составили ядро будущей поэмы Есенина о вожде — ее вторую часть:

Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.
Для нас условен стал герой,
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных, —
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...

Это был Ленин Есенина. Вместе с тем это был Ленин каждого из нас, глубоко народный, вечно живой образ самого «человечного человека», который «прост, как правда», — тот образ Ленина, который в наши дни знает и носит в своем сердце каждый честный труженик земли.

Чтобы так увидеть в те годы фигуру Ленина и такими живыми, реалистическими красками нарисовать его портрет, как это сумел сделать Есенин, надо было всем сердцем любить Россию, верить в ее народ, в ее буду-

щее, которое после Октябрьской революции было неотделимо от Ленина, его великих предначертаний. И еще: надо было, по существу, идти «против течения»: против поверхностно-иллюстративного подхода к решению ленинской темы, который стал проявляться уже в ту пору во многих вещах, посвященных Ленину, особенно до создания таких вершинных произведений художественной Ленинианы, как очерк Горького «В. И. Ленин» и поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин». К сожалению, этот облегченный подход нетрудно обнаружить порой и сегодня в нашей современной многонациональной Лениниане, несмотря на все ее очевидные достижения...

Но продолжим, а точнее завершим, наш разговор о «Повстанцах». Их последняя, третья, неоконченная главка состояла всего из одной-единственной строфы. Тематически, по мысли, эта строфа примыкала ко второй главке — «Кто милость сильных не искал...». Вот как она звучала:

Шуми и вей!
Крути свирепей, непогода,
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.

В дальнейшем она без какой-либо дополнительной авторской правки была включена Есениным в окончательный вариант его ленинской поэмы, где шла после слов «Но он потряс...».

Этим фактически исчерпывается полностью содержание чернового автографа «Повстанцев», который, как можно было в этом убедиться, так много дает для конкретного анализа важнейших «рабочих» эпизодов *всей* творческой истории Ленинианы Есенина. Следует остановиться еще лишь на одном, весьма существенном моменте.

Сравнительно недавно (а порой и в наши дни), когда возникал вопрос об отношении Есенина и Маяковского к Владимиру Ильичу Ленину, чаще всего, особенно в прошлом, поэтов противопоставляли друг другу, а то и просто весьма недальновидно сталкивали «лбами». При этом обычно подчеркивалось, что один — Маяковский,

в своей поэме «Владимир Ильич Ленин» создал эпически монументальный, всеобъемлющий образ Ленина, вождя революции и человека. Это было справедливо и соответствовало истине. Другой же — Есенин, в своих стихах талантливо, искренне, лирично выразил лишь отдельные черты ленинского облика, ленинского портрета и не смог художественно раскрыть, в чем источник революционной энергии Ленина, неодолимая сила его идей. Последнее было в высшей степени несправедливо и абсолютно не соответствовало объективной истине.

Те, кто рассуждал подобным образом, чаще всего ссылались на высказывание Есенина о Ленине в «Повстанцах», которое вошло и в окончательный текст: «Он вроде сфинкса предо мной. Я не пойму, какою силой сумел потрясть он шар земной». В этих строчках они пытались видеть главное «доказательство» якобы существующей исторической «ограниченности» и идейной «узости» в раскрытии ленинской темы Есенина. Явно тенденциозно, вырывая из контекста отдельные слова и фразы, они заостряли максимальное внимание прежде всего на слове «сфинкс». Дескать, что тут долго рассуждать. И так все ясно: не понял, не «узрел» поэт Ленина! Между тем, если на эти строки посмотреть без предвзятости, а главное — не изолированно от всего, что было сказано поэтом о Ленине до и после этих строк, не говоря уже о таких других его вещах, как «Анна Снегина» или «Капитан земли», то для каждого станет очевидно, что Есенин как художник и в этих строчках стремится *выразить образно* чувство своего безграничного восхищения перед Лениным, передать свое искреннейшее удивление и потрясение всем тем, что смог сделать в годы революции с Россией и для России, ее будущей судьбы этот «простой, застенчивый и милый» человек, на вид такой *обыкновенный* и вместе с тем такой фантастически необыкновенный! В чем его гениальность? В чем богатырская сила его духа? Ведь это именно он, а не кто иной изменил ход истории. И в самом деле, он велик, загадочен, вечен, словно... сфинкс. Вот почему, как нам представляется, рождается довольно неожиданный для поэтики Есенина образ-сравнение «вроде сфинкса» и вся связанная с ним строфа.

Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?

В таком прочтении, в такой «расшифровке» этого образа и всей строфы нас убеждает и содержание уже знакомого нам отрывка из поэмы «Гуляй-поле» — первого отклика Есенина на смерть Ленина. Из него с достаточной полнотой явствует, что поэт прекрасно понимал и сумел уже в самом начале своей работы над ленинской темой художественно показать и *что* в общественной, социальной жизни страны способствовало появлению Ленина и *что* позволило вождю революции повести в будущее всю восставшую Россию.

Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.

. . . .

Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром,

И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришел.

. . . .

Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.

Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите все в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет».

. . . .

И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен...

В свое время поэт не стал отдельно печатать эти строки. Теперь же, в процессе дальнейшей работы над образом Ленина, особенно после соединения этих строк с началом третьей главки «Повстанцев», они обретают свое место. Поэт предполагал сделать их как бы завершаю-

щими в его ленинской поэме, окончательные идейные и композиционные контуры которой с каждым днем становились для него все яснее, все очевиднее. Наконец он решается вынести свое поэтическое слово о Ленине на суд читателей.

«Отрывок из поэмы» — под таким неброским рабочим названием печатает Есенин *впервые* весной 1924 года в альманахе «Круг» эти стихи. В «Отрывок...» поэт включил доработанный и отредактированный им автограф «Повстанцы»; в него также вошли многие строфы белового автографа «Плач несознательный досаден...». Состоял «Отрывок...» из трех, очень крепко спаянных между собой идейно и сюжетно частей; первой — «Еще закон не затвердел...», второй — «Россия! Страшный, чудный звон!», третьей — «Была пора жестоких лет...». Это, по существу, уже был не просто «Отрывок...», а близкий к окончанию вариант будущей ленинской поэмы Есенина. Внеся в этот вариант, по сути дела, одно очень важное принципиальное дополнение, поэт публикует его весной 1925 года на Кавказе в своей новой книге «Страна Советская», теперь уже под определенным и ко многому обязывающим названием — «Ленин» (из поэмы «Гуляй-поле»). Затем в той же редакции и под тем же названием он включит эту вещь в собрание сочинений. Все это произойдет спустя некоторое время. Весной же и летом 1924 года Есенин, напечатав в альманахе «Круг» свой «Отрывок...», продолжал и дальше настойчиво работать над ленинской поэмой. Более конкретное представление обо всем этом дают нам опять-таки прежде всего уже другие черновые автографы есенинской поэмы. Все они по времени относятся к тому этапу работы Есенина над ленинским образом, когда его «Отрывок из поэмы» был уже напечатан. Эти автографы, так же как и те, что были нами рассмотрены ранее, убедительно и наглядно свидетельствуют, сколь требовательно, критически, порой даже «беспощадно» относился поэт к тому, что им уже было ранее найдено, написано, опубликовано. Поучителен в этом отношении и печатный текст «Отрывка из поэмы» альманаха «Круг» с авторской правкой. В нем все важно: и дописанные поэтом в конце текста десять заключительных строк, и проведенная им редактура, и разбив-

ка по-новому строф и строк поэмы с выделением очень важных смысловых отточий — пауз и, наконец, сделанные Есениным пометки в тех местах текста, куда он предполагал вставить вновь написанные куски.

Поэт прежде всего решает развернуть более подробно в первой части — «Еще закон не отвердел...» — эпизоды гражданской войны. Очевидно, ему показалось недостаточно полным и конкретным то, что им было уже опубликовано. И он продолжил свой поиск. О направленности его говорит нам наглядно черновой автограф Есенина «Но что там, за туманной дрожью?..». Приводим здесь его полностью:

Но что там, за туманной дрожью?
То ветер ли колышет рожью
Иль движется людская рать,
Ужель проснулось Запорожье
Опять на ляхов воевать,
Ужели голос прежней славы
Расшевелил былую сечь
Прямым походом на Варшаву,
Чтоб победить иль всем полечь?

Иль татарвы набег свирепый
Опять стране наносит брешь,
Или в видении Мазепа
Бежит со шведом за рубеж?
Ни то, ни это.
Страшный (?) год.
Год восемнадцатый в истории.
Тогда маячил пулемет
Чуть не на каждом плоскогорье,
И каждое почти село
С другим селом войну вело.
Здесь в схватках, зверски оголтелых,
Рубили красных, били белых
За провиантовый грабеж,
За то, чтоб не топтали рожь.

. . . .

Крестьяне! да какое ж дело
Крестьянам в поле до войны.
Им только б поле их шумело,
Чтобы хозяйство было цело,
Как благоденствие страны.

Народ невинный, добродушный,
Он всякой власти непослушный,
Он знает то, что город плут,
Где даром пьют, где даром жрут.

Куда весь хлеб его везут,
Расправой всякою грозя,
Ему не давши ни гвоздя.

Эти строки Есенин первоначально предполагал дать после строфы:

Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна
Иль всадник обронил подкову...

И они могли бы, казалось, войти в поэму, но не вошли! Почему? И что побудило поэта отказаться от почти готовых строк? Сам он по этому поводу нигде и никогда не высказывался. Не проясняют вопроса и воспоминания его современников. Остается лишь один надежный и достоверный источник — стихи поэта. Они могут сказать нам многое.

Попробуем «не согласиться» с Есениным и все же, хотя бы на время, поставим стихи «Но что там, за туманной дрожью?..» в поэме на то место, которое поначалу определил для них сам поэт. И тогда мы почувствуем, почему Есенин отказался от этих строк.

Прежде всего станет особенно ясным и очевидным, что строки эти мало что дополняют к уже ранее сказанному в поэме о гражданской войне. Если бы они были включены, то явно бы затормозили развитие действия в поэме и привели бы к неизбежному «сбою» ее напряженного, стремительного ритма. Более того, включение этих строк «разбило бы» композиционную стройность всей поэмы, удивительную гармоническую соразмерность ее отдельных частей, особенно ее заглавных, ударных разделов, посвященных непосредственно образу вождя революции.

И еще: Есенин, активно работавший в то время над «Песнью о великом походе», конечно же, не мог не почувствовать, что его суждения о крестьянах, их отношение к войне и городу («Крестьяне! да какое ж дело...» и далее) будут выглядеть в поэме в таком контексте явно односторонне и исторически неточно.

Таковы, как нам представляются, причины, в силу которых отрывок «Но что там, за туманной дрожью?..» не вошел в окончательный текст поэмы.

Сохранившийся черновой автограф этого отрывка с многочисленной авторской правкой и вариантами отдельных его строк еще раз наглядно убеждает в том, сколь настойчив и постоянен был поиск поэтом точных, выразительных слов для более яркого, правдивого, художественно полноценного воссоздания образа Ленина и вместе с тем показывает, сколь решительно Есенин в процессе работы над поэмой о вожде отказывался от всего «лишнего», от того, что могло бы вдруг прозвучать рассудочно — неубедительно и односторонне.

Когда же Есенину счастливо удавалось найти единственно верное художественное решение, то он без колебания включал такие строки в поэму. Так было с ныне широкоизвестными, достойно венчающими поэму строками, написанными Есениным уже после ее первой публикации в альманахе «Круг»:

Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
«Ленин умер!»
Их смерть к тоске не привела.

. . . .

Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

Так возникает в поэме тема ленинского бессмертия.

Все, что было открыто идейно, художественно, нравственно, исторически в «Ленине» (из поэмы «Гуляй-поле»), — все находит свое плодотворно-зримое продолжение и развитие в «Песни о великом походе», «Анне Снегиной», «Балладе о двадцати шести», «Поэме о 36», «Капитане земли» и других революционных произведениях поэта. Именно в них получает свое дальнейшее становление и развитие Лениниана Сергея Есенина. Именно они ныне по праву стали художественным ядром, идейной сердцевиной есенинской Ленинианы, которая вместе с Ленинианой Максима Горького и Владимира Маяковского составила могучий и непоколебимый фундамент *современной Ленинианы* многонациональной советской литературы и прогрессивных писателей всего мира.

ФАКТЫ, И ТОЛЬКО ФАКТЫ

> Я люблю Россию. Она не признает никакой иной власти, кроме Советской.
>
> Сергей Есенин

«Свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких и на порог не пускают...» Это предельно откровенные и по-своему горькие есенинские строки из зарубежного очерка «Железный Миргород», впервые опубликованного поэтом в газете «Известия» в 1923 году, припомнились мне как-то само собой, когда я познакомился с заметкой о Есенине и издании его произведений в Советском Союзе, напечатанной в конце декабря 1975 года западногерманским еженедельником «Цейт». Судите сами, вот что «поведал» этот еженедельник своим читателям, поведал без тени смущения и краски стыда на лице, которая, казалось бы, должна была, несомненно, появиться при наличии хотя бы грамма элементарной добропорядочности.

«В ходе подписки на новые издания произведений выдающихся советских писателей поэт Сергей Есенин, — отмечает в заметке «Цейт», — занял первое место, оставив далеко позади остальных: о своем интересе к его творчеству заявил один миллион читателей. И, несмотря на это, до сего времени не слышно о новом его издании». И далее: «В 1961 году вышло в свет первое обширное собрание его сочинений. Последующие издания — в Центральной Азии и Восточной Сибири — были либо запрещены, ввиду «неудовлетворительного отбора», либо изъяты из обращения вскоре после своего появления. Русский народ любит Есенина, русское начальство его не любит».

Читаешь эти «глубокие» рассуждения и думаешь, че-

го в них больше: дремучего невежества или лицемерного ханжества, нескрываемого антисоветизма или преднамеренно оголтелой дезинформации. Всего хватает! Обратимся в связи с этим к фактам, и только фактам. Даже еженедельнику «Цейт», судя по заметке о Есенине, способному на все, их будет трудно, а точнее, невозможно опровергнуть. Они, эти факты, широко известны в нашей стране, о них знают и истинные друзья поэзии Есенина за рубежом.

О собрании сочинений Сергея Есенина и подписке на эти издания. В 1961—1962 годах Гослитиздат выпустил пятитомное Собрание сочинений Есенина. Тираж этого издания составил 500 тысяч экземпляров. Желающих приобрести это Собрание сочинений было значительно больше. Гослитиздат в 1966—1968 годах подготовил и выпустил *второе* пятитомное Собрание сочинений Есенина — и также тиражом 500 тысяч. Таким образом, миллион(!!!) подписчиков смогли получить в течение нескольких лет собрания сочинений поэта, включающие все известные к тому времени его произведения. Я это могу засвидетельствовать как литературовед, принимающий с самого начала участие в подготовке и выпуске и первого и второго Собрания сочинений Есенина. Автор заметки в «Цейт» обходит молчанием вопрос о выпуске вслед за Гослитиздатом еще одного Собрания сочинений Есенина. Ради восстановления истины напомним ему об этом. Я имею в виду трехтомное Собрание сочинений Есенина, которое вышло в 1970 году в приложении к журналу «Огонек». Подписка на это издание собрала два миллиона человек. Именно таким тиражом — 2 миллиона экземпляров — и было выпущено это издание, которое мне довелось готовить к печати вместе с сестрами поэта — Екатериной Александровной и Александрой Александровной Есениными, поэтами В. Федоровым, С. Васильевым, литературоведами С. Кошечкиным и А. Козловским.

В связи с 80-летием Сергея Есенина Госкомиздатом СССР поручено Гослитиздату подготовить и выпустить в ближайшие два-три года новое полное Собрание сочинений Есенина. Подписчики уже получили первые два тома этого издания. Журнал «Огонек» выпустил в 1977 году вновь трехтомное Собрание сочинений Есенина.

К этому следует добавить, что уже длительное время ежегодно в различных издательствах как в Москве, так и в других городах выходят однотомники произведений Есенина и сборники его стихов как на русском, так и в переводах на многие языки народов СССР. Ныне стихи Есенина переведены и печатаются более чем на сорока языках народов нашей Родины.

Только в Москве в юбилейном для Есенина 1975 году однотомники и сборники стихов поэта вышли в издательствах «Молодая гвардия», «Советская Россия», «Детгиз», Гослитиздат. В издательстве «Московский рабочий» вышел вторым изданием стотысячным тиражом сборник «Воспоминания о Сергее Есенине».

За последние 10—15 лет произведения Есенина неоднократно издавались местными издательствами и в Хабаровске, и в Иркутске, и в Свердловске, и в Саратове, и в других городах. Ни одно из этих изданий не запрещалось, не изымалось из обращения. Подобные утверждения — это злостная клевета. Как известно, все эти годы печатаются и издаются исследовательские работы о жизни и творчестве Есенина, подготовлены и защищены десятки кандидатских диссертаций. Выходили и продолжают выходить монографические работы о Есенине, такие, как: Е. Наумов, «Сергей Есенин. Личность, Творчество. Эпоха»; А. Марченко, «Поэтический мир Есенина»; С. Кошечкин, «Сергей Есенин. Раздумья о Есенине», и другие. Вышла в 1975 году и моя (восьмая) книга о поэте «Сергей Есенин. Образ. Стихи. Эпоха» тиражом 75 тысяч экземпляров.

«Есенин и современность» — так назван коллективный сборник о творчестве поэта, подготовленный совместно Институтом русской литературы АН СССР и издательством «Современник». Его тираж — 100 тысяч экземпляров.

Есенину, его жизни и творчеству отводится большое место в школьных и вузовских курсах литературы.

В дни 80-летия Есенина во многих высших учебных заведениях страны состоялись научные конференции, посвященные изучению литературного наследия поэта, его жизни, творчеству, повсеместно прошли вечера, посвященные поэту в школах, Домах культуры и клубах. Всесоюзная научная конференция была проведена в дни

юбилея Есенина в Московском государственном университете. В ней участвовали ученые многих городов и районов страны, а также зарубежные исследователи творчества поэта.

Об огромном внимании к увековечиванию памяти великого советского поэта Сергея Есенина со стороны Советского государства, Коммунистической партии свидетельствуют такие факты, как открытие в 1965 году Государственного мемориального, а затем и литературного музея Сергея Есенина на его родине — в селе Константинове; установлении и открытии в дни 80-летия Есенина в городе Рязани памятника великому поэту России, автором которого является выдающийся советский скульптор А. П. Кибальников. Тогда же, в дни 80-летия поэта, на азербайджанской земле, в Мардакянах, где создавались знаменитые «Персидские мотивы», был открыт литературный музей Сергея Есенина. Сделано многое. Впереди новые дела, новые заботы по увековечиванию памяти, по изучению богатейшего наследия Сергея Есенина, мировое значение которого как поэта, рожденного эпохой Великого Октября, в наши дни становится все очевиднее.

А всем тем, кто еще при жизни поэта пытался оторвать его от Советской Родины, кто, подобно «знатокам» советской литературы из еженедельника «Цейт», тщетно пытается сделать это в наши дни, позволим напомнить одно весьма поучительное и определенное заявление самого Есенина, сделанное им в Берлине, в мае 1922 года в ответ на вопрос корреспондента одной из тогдашних газет, как он относится к тому, что произошло в России в 1917 году? «Я люблю Россию. Она не признает никакой иной власти, кроме Советской. Только за границей я понял все значение русской революции, спасшей мир от безнадежного мещанства».

Как говорят в таких случаях, комментарии излишни!

ПРЕКРАСНА ЗЕМЛЯ И НА НЕЙ ЧЕЛОВЕК

Истинная поэзия всегда глубоко человечна. Она всегда покоряет наши сердца любовью к человеку, верой в лучшие порывы его души; она помогает человеку «выдюжить» в самые трагические минуты его бытия. Поэзия всегда ведет вечный бой за Человека! Она мужественно и открыто выступает против зла, лицемерия, насилия. Она непримиримый враг всего античеловечного, враг «черного человека».

Великие художники — всегда великие гуманисты. Как прометеев огонь, проносят они через века свою неколебимую любовь и веру в человека, в то, что будущее его светло и прекрасно. По своей творческой сути, по своим убеждениям и идеям они всегда великие мыслители и революционеры духа; они постоянно и настойчиво вслушиваются в биение народного сердца, в дыхание своей Родины, чутко улавливая при этом нарастающие раскаты новых революционных бурь и потрясений. Все это и делает их поэзию бессмертной и вечной. Таков безымянный автор «Слова о полку Игореве», таковы наш Пушкин, наш Лермонтов и Некрасов, наш Маяковский и Блок, таков наш Сергей Есенин...

Гуманизм Есенина рожден прежде всего его великой любовью к Родине.

Черная, потом пропахшая выть!
Как мне тебя не ласкать, не любить?

. . . .

Где-то вдали, на кукане реки,
дремную песню поют рыбаки.

Оловом светится лужная голь...
Грустная песня, ты — русская боль.

Родина — это не географическое понятие, не голое поле и даже не три березки. Родина — это прежде всего люди, твои соотечественники, это народ, который обстраивает, украшает свою землю, борется за ее свободу, дает этой земле свое родное имя.

Уже в ранних стихах поэта, по сути дела, нет идиллии. Есть боль, тревога, печаль, скорбь, нет одного — равнодушия к судьбам миллионов тружеников, к человеку. И не только в стихах, в творчестве, но и в мыслях, в поступках юного поэта.

«...Человек! Подумай, что твоя жизнь, когда на пути зловещие раны. Богач, погляди вокруг тебя. Стоны и плач заглушают твою радость. Радость там, где у порога не слышны стоны», — читаем мы в одном из ранних писем Есенина. Все видит, все замечает взор поэта, на все бесчеловечное, тревожное, горькое в жизни отзывается его чуткая, гуманная, легко ранимая душа. Даже там, где в стихах, казалось бы, речь идет не о человеке, главным для поэта остается Человек, его отношение к окружающему миру, его моральный, нравственный облик. Перечитайте «Песнь о Собаке», «Корову», «Лисицу», «Табун», и вы явственно ощутите это.

В дооктябрьский период именно гуманизм во многом помог Есенину определить свою общественную демократическую позицию, свое отрицательное отношение к мировой империалистической войне:

Понакаркали черные вороны:
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер.

Грянул гром, чашка неба расколота,
Тучи рваные кутают лес.
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.

Повестили под окнами сотские
Ополченцам идти на войну.
Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.

Такие строки могут родиться только в сердце художника, для которого война — непоправимое человеческое горе. Вот откуда и лирический накал, и гуманистический пафос этих строк.

Нельзя любить землю вообще. Человека — вообще. Только любя свою Родину, свой народ, своих соотечественников, можно стать великим гуманистом, художником, близким, доступным, понятным людям разных стран и наций. Национальное и интернациональное всегда в творчестве истинного художника находится в нерасторжимом диалектическом единстве.

Гуманизм — категория социальная, классовая, наполненная во все времена конкретным историческим содержанием. Мировое значение Есенина, действенная сила его гуманистической поэзии определяются прежде всего тем, что он сумел «в развороченном бурей быте» и преодолевая противоречия революционной эпохи, и свои субъективные заблуждения понять, осмыслить мировоззренчески, философски и раскрыть художественно в своих стихах и поэмах величайшее значение Октябрьской революции, открывшей народам мира путь к подлинной свободе — социализму, к нравственному, духовному возрождению человека. При этом впервые в мировой поэзии именно Есенин рассказал об объективном, исторически закономерном и неизбежном пути трудового крестьянства к берегу пролетарской революции.

Большевики-ленинцы, те, кто в эпоху Октября олицетворял все истинно человеческое и революционное в русском народе, становятся для Есенина идеалом прекрасного. Поэт жадно тянулся к ним, вначале больше стихийно, чем сознательно («небо — как колокол, месяц — язык, мать моя — родина, я — большевик»); несколько позднее он пробивался к ним настойчиво «в развороченном бурей быте», а затем, и это было главным, он рассказал о них в «Песне о великом походе» и «Анне Снегиной», «Поэме о 36» и «Капитане земли».

А каким окрыляющим гуманистическим пафосом наполнены строфы есенинской «Баллады о двадцати шести». Герои ее, бакинские комиссары, истинные гуманисты. Свобода, радость, счастье людей труда — смысл их жизни. Бессмертен их подвиг. Оживают в «Балладе»

великие тени бакинских комиссаров. Глубоким смыслом наполнен взволнованный разговор, который они «ведут» между собой:

То не ветер шумит,
Не туман.
Слышишь, как говорит
Шаумян:
«Джапаридзе,
Иль я ослеп,
Посмотри:
У рабочих хлеб.
Нефть — как черная
Кровь земли.
Паровозы кругом...
Корабли...
И во все корабли,
В поезда
Вбита красная наша
Звезда».

«Баллада о двадцати шести» заставляет нас невольно вспомнить проникнутые революционным гуманизмом чеканные строки «Левого марша» Владимира Маяковского, вспомнить героическую «Балладу о гвоздях» Николая Тихонова и другие выдающиеся произведения социалистической литературы, обращенной прежде всего к Человеку нового, революционного мира.

Наполненные любовью к людям, к человеку, к красоте родной земли, проникнутые душевностью, добротой, чувством постоянного беспокойства за судьбу не только своих соотечественников, но к народам других стран и наций, гуманистическая поэзия Есенина активно живет и действует в наши дни, помогая сохранению и упрочению мира во всем мире. Глубоко человечное, свободолюбивое, в высшей степени патриотическое поэтическое слово Есенина доходит ныне до сердца миллионов людей во всех уголках нашей планеты, пробуждая в них все лучшие человеческие черты, объединяя их нравственно, духовно; помогая им познавать и открывать для себя еще полнее Родину поэта — страну Октябрьской революции, первую страну социализма, давшую миру самого «человечного человека», Прометея XX века — великого Ленина.

Пожалуй, нигде с такой публицистической страстью и гражданской убежденностью и одновременно с такой

художественной силой не говорит Есенин о непримиримом столкновении двух моральных, нравственных начал, как в ныне широкоизвестном монологе комиссара Никандра Рассветова в пьесе «Страна негодяев». В предреволюционные годы Рассветов испытал все: и царскую тюрьму, и ссылку, и нелегкую жизнь политического эмигранта вдали от Родины. Ему довелось, особенно в «свободной» Америке, лицом к лицу столкнуться с бесчеловечным миром бизнеса и наживы: миром, где властвует лишь один всесильный бог — золото и господствует один закон: «человек человеку — волк». Всей своей сознательной жизнью и борьбой за свободу Родины один из героев Есенина, коммунист Рассветов, завоевал гражданское и моральное право вынести самый строгий «приговор» «Стране негодяев», рожденной буржуазным миропорядком:

Дело, друзья, не в этом.
Мой рассказ вскрывает секрет,
Можно сказать перед всем светом,
Что в Америке золота нет.
Там есть соль,
Там есть нефть и уголь,
И железной много руды.
Кладоискателей вьюга
Замела золотые следы.
Калифорния — это мечта
Всех пропойц и неумных бродяг.
Тот, кто глуп или мыслить устал,
Прозябает в ее краях.
Эти люди — гнилая рыба.
Вся Америка — жадная пасть,
Но Россия... вот это глыба...
Лишь бы только Советская власть!..
Мы, конечно, во многом отстали.
Материк наш:
Лес, степь да вода.
Из железобетона и стали
Там настроены города...

. . . .

На цилиндры, шапо и кепи
Дождик акций свистит и льет.
Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жулье.
Если хочешь здесь душу выржать,
То сочтут: или глуп, или пьян.
Вот она — мировая биржа!
Вот они — подлецы всех стран.

Читаешь монолог Рассветова и вспоминаешь невольно столь же пророческие строки, которыми Маяковский заканчивает свой очерк: «Мое открытие Америки»: «Может статься, что Соединенные Штаты сообща станут последними вооруженными защитниками безнадежного буржуазного дела...»

Поэт не историк. Он никогда не стремится к последовательному изложению тех или иных исторических событий. Для него главное: «схватить» и художественно выразить дух времени; те главные, наиболее характерные черты эпохи, которые дают нам, читателям, наиболее яркое и целостное представление об этой эпохе, делают нас как бы соучастниками тех или иных исторических событий. Такие поэтические произведения по праву становятся энциклопедией жизни своего времени. Вспомним пушкинского «Медного всадника», лермонтовскую «Песнь о купце Калашникове», некрасовскую «Железную дорогу», вспомним «Двенадцать» Блока, «Главную улицу» Демьяна Бедного, «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!» Маяковского.

«Песнь о великом походе», «Анну Снегину», «Поэму о 36», «Балладу о двадцати шести», «Ленин (отрывок из «Гуляй-поле»)» Есенина мы смело можем отнести к тем поэтическим произведениям, где дух революционного времени, дух эпохи гражданской войны «схвачен» и передан с подлинно эпической художественной силой. Остается только сожалеть, что при жизни поэта эти произведения не получили в критике должной и заслуженной оценки. Между тем сегодня становится все очевидней та истина, что в этих вещах, равно как и в ряде других произведений Есенина, ясно обозначился его творческий и гражданский путь как великого художника, гуманиста, который вместе с другими зачинателями советской литературы стоял у истоков поэзии социалистического реализма.

* * *

Вся поэзия Есенина направлена на то, чтобы поддержать, окрылить человека, раскрепостить его духовно и создать для него такие условия общественной жизни, чтобы он действительно смог стать человеком.

Муза Есенина озарена немеркнущим светом истинной человечности, великой любовью к Родине, ко всему живому на земле.

Милые, березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Через Есенина нам еще полнее ныне открываются и вечно живой гуманизм Пушкина, и философский, полный тревог взгляд на мир Лермонтова, нам еще ближе и роднее становится крестьянская Русь Некрасова, во всей полноте видится любовь к России Блока, и мы все сильнее начинаем чувствовать не только эпическое дыхание, но и величайший лиризм поэзии Маяковского.

* * *

Так рассказать в поэзии о человеке, его земных радостях и тревогах, с такой душевной теплотой писать о своих соотечественниках, так глубоко увидеть трагедию человека в мире капитала, а главное, так понять и суть исторических событий, и богатство, красоту души тех, кто в дни революционного Октябрьского штурма встал во главе восставшей России, мог только человек, сам же столь открытый, честный, мужественный, мудрый, если надо, беспощадный к себе, своим ошибкам и заблуждениям, — человек, который по праву олицетворяет в себе лучшее и прекрасное в его народе. Именно таким сегодня, «на расстоянье», видится нам великий русский советский поэт Сергей Есенин.

III

Впереди новые дали

СЕРДЦА-ВЫСОТЫ

Сердца! Да это же высоты, которых отдавать нельзя.

Василий Федоров

Еще никогда в мире не стояла столь остро, как ныне, проблема нравственного, морального воспитания человека; никогда еще не выступали столь зримо, как в наши дни, две взаимоисключающие концепции человека. Одна из них возникла в недрах старого, буржуазного общества. Другая рождена новой, социалистической действительностью.

Сегодня не только нам, но и наиболее умным, наиболее дальновидным лидерам западного мира становится все очевидней, что человечеству не только и не столько угрожает энергетический кризис, сколько кризис духовный, нравственный, связанный с необратимым на буржуазном Западе процессом обесценивания и распада человеческой личности.

Вот почему прогрессивное человечество все решительнее обращает свой взор к Стране Советов — нашей Родине, к народам других социалистических государств.

Велика роль литературы в развернувшейся «во всей планете» напряженной идейной битве за сердца, за души людей. Почетна, гуманна, интернациональна миссия нашей многонациональной литературы.

С этих позиций нам прежде всего следует рассматривать и оценивать состояние и движение современной российской литературы, в том числе русской поэзии.

Русская поэзия всегда была нравственной, моральной опорой передовых общественных сил России: вспомним Пушкина, Лермонтова, Некрасова, вспомним основоположников советской поэзии — Маяковского, Есе-

нина, Блока, вспомним поэзию первых пятилеток и Великой Отечественной войны.

Современная российская поэзия — это прежде всего новые стихи, новые книги поэтов России. Это и сборники новых стихов, и отдельные издания, и книги, входящие в библиотеки: «Поэзия России», «Российская поэма» и другие.

Именно по книгам-новинкам мы прежде всего можем судить, куда идет наша поэзия сегодня, где ее истинные высоты, можем реально ощутить дыхание, пульс современной поэзии, ее активность, наступательный порыв, глубину проникновения в духовный мир нашего современника.

Сейчас все поэты, как правило, тяготеют к современности. Факт примечательный. Вспомним, что еще сравнительно недавно в стихах, в том числе и молодых поэтов, было порой явно тесновато от покосившихся избенок и старинных храмов, колоколен и крестов. Правда, «мода» эта, как и всякая другая, быстро себя исчерпала.

Ныне в российской поэзии заглавной стала тема современности. Масштабность, психологическая глубина, многогранность ее решения российскими поэтами очевидна. Назовем здесь некоторые книги-новинки, которые вышли за последние годы лишь в «Современнике»: «Гиперболы» Леонида Мартынова, «Татарник» Михаила Дудина, «Пора медосбора» Людмилы Татьяничевой, «Три портрета» Фазу Алиевой, «Верность» Сергея Орлова, «Товарищ по жизни» Степана Щипачева, «Плуг и борозда» Сергея Викулова, «Диск» Александра Коваленкова, «Языческая поэма» Ювана Шесталова, «Дерево на вершине» Амира Гази, «Дорога номер один» Евгения Евтушенко, «Доброта» Эдуарда Асадова, «Одна земля — одна любовь» Ларисы Васильевой, «Вьетнам, зима семидесятого...» Константина Симонова, «Продолжается бой» Владимира Котова, «Самый светлый дом» Ольги Фокиной, «Зеленые поклоны» Людмилы Мухиной, «Росстани» Владимира Бояринова, «Снежная держава» Василия Ледкова, «Только о жизни» Николая Брауна, «Во мне и рядом даль» Юрия Кузнецова, «Зеленоглавая держава» Леонида Шкавро, «Живу сего-

дня» Михаила Львова, «Огонь» Валентина Сорокина и другие.

Образ советского человека, борца-созидателя, патриота и интернационалиста в этих книгах вдохновенно прекрасен. Он подлинный герой нашего времени.

Истина всегда конкретна. Поэтическая — не является исключением. Не следует увлекаться голым перечислением, но и безымянная поэзия вряд ли кому-либо нужна.

Поэтическое творчество — явление глубоко индивидуальное. Чтобы объективно раскрыть общую картину развития современной российской поэзии, необходимо подробно представить себе и самые яркие поэтические звезды, и едва народившиеся, которые еще только начинают светиться в глубинах млечного пути духовной жизни нашего народа. Только тогда и может открыться нам во всей своей красоте, в своих ближних и дальних далях поэтическое небо Советской России.

Не только книги о нашем сегодняшнем дне, но и произведения, в которых авторы обращаются к героическому прошлому нашей Родины, ко времени Великой Отечественной войны, по-своему современны. Такие исторические поэмы, как «Достоинство» и «Изба над Тоболом» Сергея Васильева, «Гора не боится града» Фазу Алиевой, «Неизвестный известен», «Сердце и дневник» Сергея Смирнова, рождены нравственной атмосферой нашего времени. Они вряд ли могли быть написаны именно так в пятидесятые годы.

В рассуждениях нашей критики об особенностях развития поэзии семидесятых годов иногда отмечается, что в ней имеется два основных направления: классическое и современное. При этом подчеркивается, что одни поэты тяготеют к классическим традициям и продолжают успешно работать в области классического стиха, другие стремятся схватить и передать в стихах напряженные, динамичные ритмы, связанные с современной жизнью, особенно городской.

В связи с этим хотелось бы сделать одно, на наш взгляд, принципиальное замечание. В любом деле, любом процессе, чтобы успешно двигаться вперед, важно видеть главное направление. Важно это и в нашем литературном деле. Знаменательно, что в российской по-

эзии 70-х годов все сильнее развиваются и утверждаются, постоянно обогащаясь, традиции классической поэзии. Это, бесспорно, ее главное направление сегодня. Здесь ее главные достижения и завоевания. Ярчайший пример тому новая поэма Егора Исаева «Даль памяти». В чем ее сила? Во многом. И в глубочайшей народности, и в могучем эпическом дыхании каждой ее строфы, и в неповторимости ее образной, языковой плоти, и в истинной гражданственности и мудрости мысли. Своими корнями «Даль памяти» уходит в поэтические глубины: и к «Слову о полку Игореве», и в стихию пушкинского реалистического стиха, и в знаменитую некрасовскую поэму «Кому на Руси жить хорошо». Она самобытна, она глубоко самостоятельна, поэма Исаева. Но она вся в традициях классики.

Вспомним еще раз путь Маяковского, Блока, Есенина. Каждый из них, преодолевая чуждые, антиреалистические влияния, шел по-своему вперед, к реалистическим вершинам пушкинской простоты. Перешагнув через себя, свой символизм, Александр Блок смог сложить бессмертную поэму «Двенадцать», Владимир Маяковский — в поэмах «Ленин», «Хорошо!», «Во весь голос» — навсегда распрощался с футуризмом; Сергей Есенин, отойдя от имажинистов, создает такие шедевры мировой поэзии, как «Персидские мотивы» и «Анна Снегина». В нашей современной поэзии ее вершины и достижения связаны со смелым, новаторским осмыслением традиций классики, реалистического опыта всей нашей многонациональной поэзии. И очень знаменательно, что, развивая традиции классики, российская поэзия 70-х годов решительно освобождается и от налета церковно-музейной архаики, и от «вторичности» и эпигонства, и от отдельных формалистических выкрутасов, и от ритмической мягкотелости и инфантильности, и от дешевой эстрадной шумихи.

Позволим себе сравнить современную российскую поэзию с огромным морем, а точнее, с бескрайним океаном, где бушуют вечные волны жизни, где бывают и штормы и бури, а порой — и затишье и штиль. Этот океан поэзии питают и широкоизвестные полноводные поэтические реки, и едва приметные молодые стихотворные ручейки.

В этой связи еще раз хочется сказать во весь голос о таком выдающемся русском современном поэте, как Василий Федоров, чье богатейшее творчество под стать великой Волге. Последняя его поэма «Седьмое небо» близка поэме Твардовского «За далью — даль». Обе эти поэмы еще долго будут волновать сердца людей.

В свое время Василий Федоров написал стихотворение «Сердца», афористические строки которого в наши дни звучат с особой силой:

Все испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая, займет наш враг.
. . . .
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.

Кажется, что сказано все это сегодня. Такова сила подлинной поэзии; она всегда с заглядом в будущее, всегда по-настоящему современна.

СЫН РОССИИ

Я весь изъездил шар земной
И весь исколесил.
И Русь всегда была со мной
Зарядом гордых сил.

Сергей Васильев

Лица. Лица друзей. Задумчивые. Взволнованные. Озаренные. И голос. Предельно искренний, немного усталый, такой знакомый и близкий...

Кажется, все это было только вчера. В кругу товарищей и друзей выдающийся русский поэт Сергей Александрович Васильев в Центральном Доме литераторов читал новую поэму «Изба над Тоболом», посвященную памяти поэта-декабриста Вильгельма Кюхельбекера — одного из достойнейших сынов России.

Отзвучали последние заключительные строфы поэмы. В небольшом уютном зале на какое-то мгновенье стало торжественно-тихо. Было очевидно: только что услышанные стихи явно «легли» на сердце весьма искушенным слушателям.

— Ну вот, мои дорогие, и кончил я вас мучить. Теперь помолчу, а вы пошумите, — весело заметил Сергей Васильев. Чувствовалось: он был радостно возбужден таким приемом и не собирался этого скрывать. Его лицо светилось доброй — васильевской улыбкой.

В эти минуты невозможно было поверить, что этот такой могучий с виду человек был уже давно очень, очень тяжело болен; что еще сегодня утром он просил, если у него не хватит сил и он не «выдюжит», «оплошает», дочитать за него поэму.

Но он выдюжил и на этот раз. Вспомнились его известные стихи:

Вот и шагаю с открытым забралом,
знойную рифму держу наготове,
сроду в пути не сказавшись усталым,
жар сохраняю в нацеленном слове.

Счастье ли, горе ли вижу людское,
ведро ли светит, ненастье ли студит, —
нет мне покоя, нет мне покоя
и никогда, вероятно, не будет.

Никто в тот вечер не предполагал, что это было, по существу, последнее публичное выступление Сергея Васильева. Вскоре он вновь оказался в больнице. Во время операции не выдержало, сдало сердце. 2 июля 1975 года оборвался жизненный путь поэта...

С того памятного вечера неоднократно возвращался я к «Избе над Тоболом». Поэма неудержимо влекла к себе. Каждый раз что-то значительное, новое открывалось в ее исторических далях, забирая в полон душу, буквально с изначальных строк:

Над говорливой рекой Тоболом
стоит изба.
Покрыта сумрачным сном тяжелым
ее судьба.
Избу возвел здесь бедняк-изгнанник,
поэт к тому ж.
А родом был он из тех, из ранних,
бесстрашных душ,
кто отдал крыльям мечты народной
всю страсть и пыл,
кому опорою благородной
сам Пушкин был.

Велика сила слова. Все ему подвластно: и седая даль прошлого нашей истории, и сегодняшняя явь, наше настоящее, и далекое — близкое, будущее. Кто сегодня хранит в памяти имена, казалось, всесильно-вечных вельмож и царедворцев времен Пушкина? Покрытые тленом народного забвения, они бесславно канули в небытие.

А бессмертный Пушкин! Все, что гений его воплотил в слове, — все вечно, все современно. В душе России, освобожденной Великим Октябрем от самодержавного рабства, пушкинский «Памятник» уже давно вознесся выше любого александрийского столпа...

О живой, неистребимой силе поэтического слова, способного зримо воскресить в нашей памяти, казалось бы, навсегда ушедшие от нас, забытые страницы былого, вдохнуть в них «душу живу», — обо всем этом вновь

думалось при встрече с васильевской «Избой над Тоболом».

В самом деле, на берегу реки Тобол доживала последние дни старая изба. Более ста лет тому назад ее «возвел» и жил в ней сосланный сюда декабрист Кюхельбекер.

Прошло бы еще несколько десятилетий, и последние венцы этой старой избы, вероятно, исчезли бы с лика земли. И скорей всего это вряд ли кого-нибудь удивило. Что — изба! Города, страны и даже цивилизации гибли на нашей планете. И до нас — их далеких потомков — доходило чаще всего то, что «отстоялось» словом, что запечатлелось, закрепилось на века, казалось бы, в этом самом хрупком строительном материале. Яркий пример тому древние новгородские берестяные грамоты.

Так и старая изба на берегу Тобола зажила в наши дни своей новой жизнью — жизнью в слове. И сделал это поэт:

Изба над Тоболом!
Годами источен
твой вид первозданный,
утрачен фасад.
И все же венцы твоих бурных обочин
наглядно
о горьком былом говорят.
Изба над Тоболом!
Тесовая крыша!
Бревенчатый дом на крутом берегу.
Я издали скрип половиц твоих слышу
и облик твой
в сердце своем берегу.

Сергей Васильев, чье детство и отрочество прошли в Кургане, на Тоболе, с той юной поры сберег в памяти все, что было связано в прошлом с избой Кюхельбекера. По воле поэта в ней вновь зазвучал голос ее «ссыльного хозяина», лицейского друга Пушкина:

— Друзья мои!
Братья мои по изгнанью!..
(Вильгельм пошатнулся и побледнел)
Я поздней ночью и
ранней ранью
не вижу,
где Пушкину есть предел...

Друзья!
Я в вас вижу единоверцев.
Нева нас сроднила, а не Тобол.
Так выпьем же дружно
за зоркость сердца
за пушкинский, ставший звездою глагол!

На наших глазах как бы произошло чудо. Изба над Тоболом наполнилась живой жизнью. Перед нашим взором предстал Кюхельбекер, сохранивший, несмотря на тяжелейшие годы ссылки и болезнь, поразительную стойкость души, ясность мысли, доброту чувств, благородство; его семья — дети, жена Дросида, далекая от литературных забот больного супруга и вместе с тем относящаяся к нему с истинно материнской нежностью; ссыльные друзья поэта — декабристы Бригген, Нарышкины, Большаков, Щепкин-Ростовский, что по «Сенатной Московцев вел».

Вся поэма Васильева озарена светлым именем Пушкина. Образ великого поэта не застит образа Кюхельбекера, а, наоборот, помогает автору полнее выразить главные черты его характера. С особой силой это проявляется в одном из самых просветленных эпизодов — праздновании декабристами в глухой сибирской ссылке дня рождения Пушкина:

...Встал Кюхельбекер и начал слово
ровно и сдержанно: — Господа!
Все мы здесь
связаны общей долей,
всех стережет полицейский глаз.
Но Пушкин живет,
заявить позволю,
очень по-разному в каждом из нас...
И я полагаю,
что мы недаром
восстали когда-то, презрев картечь... —
Вильгельм произнес эту фразу с жаром,
осекся на миг и продолжил речь:
— Вспомним,
с какою глубокою страстью
сказал он про новые времена:
«Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья...»

Слепнущему, тяжело больному человеку собрать у себя в доме в день рождения Пушкина тех, кто за

десятилетия царской каторги и ссылки мог и утратить, и даже окончательно убить свою душу; собрать для того, чтобы укрепить веру в святое дело свободы; наконец, вместе с ними еще раз пережить незабываемые минуты, когда среди них был их Пушкин, — все это было равнозначно подвигу, а вернее — это и был нравственный, гражданский подвиг Вильгельма Кюхельбекера. Вместе с автором мы глубоко переживаем это духовное возрождение его героя. Всем предшествующим повествованием подводит нас Сергей Васильев к этой ключевой сцене. Здесь, несомненно, кульминационный взлет всей поэмы.

Автор делает нас очевидцами еще одной незабываемой встречи хозяина избы над Тоболом с декабристом Иваном Пущиным. Последний приехал в Курган для того, чтобы увезти Кюхельбекера на лечение в Тобольск. Поэт дает нам возможность увидеть, как во время этой встречи с лицейским товарищем Кюхельбекер «стал диктовать ему завещанье — нажитой мудрости борозду».

Что —
        целиком продолжить к изданью,
что —
    для печати в кусках извлечь,
что —
    немедля, без колебанья
с чистой совестью бросить в печь...
— Вот и в порядке мои скрижали!
Теперь и в бессмертье скакать пора!.. —
...А поутру уже кони ржали,
тройка тронулась со двора...
В Тобольск!
            Там отступит режим постельный,
Там обретет он вечный покой.
И тут я прощаюсь с моим Вильгельмом
и долго машу ему вслед рукой.

Прощаемся и мы с героем Сергея Васильева, прощаемся со щемящей в душе грустью, в раздумьях о его трагической и все же по-своему счастливой судьбе. Он становится для нас значительно роднее, ближе, человечнее, чем это было до нашей встречи с «Избой над Тоболом».

Сергей Васильев с большим художественным тактом и исторической зоркостью успешно справляется в «Избе

над Тоболом» с задачей, которую всякий раз приходится решать писателю, обращающемуся к героическому прошлому. Всей поэмой он справедливо утверждает, что его исторический герой по народности характера, гражданской убежденности, по своим идеалам — наш современник.

Остается заметить, что здесь во всем чувствуется зрелый мастер стиха. В поэме нет ничего лишнего, нет затянутости действия, длиннот, необязательных эпизодов, рыхлых строф, с чем порой мы сталкиваемся в других вещах Сергея Васильева. В «Избе над Тоболом» все на месте, все подчинено раскрытию авторского замысла, воссозданию правдивых картин народной жизни, народного быта, окружавших Вильгельма Кюхельбекера в сибирской ссылке.

Такова, к примеру, одна из живописных, многоликих, «голосистых» сцен, передающих живую атмосферу, царящую на курганском базаре, куда однажды попадает герой поэмы:

Гомон, гвалт стоит над базаром.
Мечется,
крутится,
носится
рыжей пылью,
летучим жаром
разноголосица:
— Шурум-бурум!
Не за так берем!
Платим сами
медяками,
а с походцей серебром!
— Втулки!
— Вьюшки!
— Гвозди!
— Кадушки!
— Погадаем, Кольша!
— Не желаю больше!
— Перекусим, Ваньша?
— Выпьем чарку раньше!
— Что купил?
— Чо надо!
Чохом без огляда
взять поспел едва
две середки
от селедки,
от жилетки рукава!
— Кобыленка знатна,

не базлай, что лы́са!
— Шаровары из сукна!
— Шушины из плиса!
— Обручà! Обручà!
— А они, мамань, для ча?
— Для зажима, дочка,
чтоб держалась бочка!
— Бурдюк с кумысом!
— С патокой крынка!
— Жирный вяленый сом!
— Жарена конинка!
— Отвяжись, худая жись,
с эдаким товаром!
Мне его несли лонись, —
не взяла задаром!

Эта «шумная» сцена поначалу может показаться излишне хаотичной. Но вскоре становится очевидным мастерство поэта, который с внешней легкостью и непринужденностью так точно выстраивает эту сцену и ритмически и композиционно.

У Сергея Васильева за каждой «случайной» фразой, за каждой, казалось бы, мимоходом оброненной репликой почти всегда угадывается и просматривается конкретный лик или характер. Из этих отдельных ликов-образов, из этой ритмической «разноголосицы» и складывается в «Избе над Тоболом» живой, выразительный портрет народа.

Словно венец к венцу выстраивает надежно и добротно, строка к строке, Сергей Васильев свою поэтическую избу над Тоболом. При этом многое в поэме остается как бы за строкой, вернее — в глубине строки. Это весьма характерно и примечательно для ее поэтики, народности ее стиля.

По-настоящему счастлив тот, кто сумеет сохранить и пронести святую верность Родине, наперекор всем превратностям судьбы, через всю жизнь, — такова суть поэзии Сергея Васильева, ее главный пафос. Едва ли не все одухотвореннее, яростнее, полнее выражен он в его лебединой песне — «Избе над Тоболом».

Далеко не случайно мы уделили такое внимание последней поэме Сергея Васильева. В ней ярко проявляется одна из характернейших особенностей поэта — по-

стоянный, всевозрастающий интерес к героическому прошлому России во имя ее настоящего и будущего.

Историзм «Избы над Тоболом» я назвал бы поэтически-документальным историзмом, проникнутым оптимистическим пафосом современности. Взгляд поэта на историю с позиций современности предельно выразителен. Именно это в первую очередь позволяет Сергею Васильеву сказать свое слово о великом подвиге декабристов. «Изба над Тоболом» достойно венчает творческий и жизненный путь поэта. С высоты этой талантливой поэмы, пока еще малоизвестной в широких литературных и читательских кругах, открывается полнее и рельефнее вся глубина чувств его поэзии.

Поэзия Сергея Васильева — это прежде всего поэзия характеров — ярких, героических, глубоко народных. Поэта волнуют, увлекают натуры цельные, сильные духом; сердца их наполнены жаждой подвига и великой любовью к Родине. Чаще всего в поэмах Васильева перед нами проходит вся их жизнь. Поэт как бы раскрывает перед нами тайну рождения их подвига, показывая, какие силы, какие мысли и чувства ведут его героев к этому подвигу. Таков капитан Можайский, герой поэмы «Первый в мире», — «великий подвижник российской земли», веривший в будущее Родины в самые глухие годы царизма:

Придет еще время, я знаю, придет, —
Россия расправит широкие плечи,
и вылетит утренней правде навстречу
ее от рожденья крылатый народ!..

Таков в поэме «Портрет партизана» Александр Черенок — легендарный, неуловимый вожак сибирских партизан, гроза колчаковцев:

Как будто,
поднявшись над тучей,
упрямый,
лихой,
молодой,
он вдруг обернулся летучей,
никем не открытой звездой.

Год за годом встает в стихах и поэмах Васильева наше неповторимое, суровое, героическое время.

Отпела вьюга, опалил мороз
немецкие расколотые танки.
Валяются их грузные останки
в ногах у русских тоненьких берез.

Это из поэмы «Москва за нами». Когда читаешь ее сегодня, то убеждаешься: для поэта-фронтовика был один-единственный критерий — историческая достоверность, правда войны. Не удивлять читателя затейливым ритмическим ходом, звонкой рифмой, неожиданным словцом (мы знаем, что и по этой части умения поэту не занимать), а точно воссоздать зримые картины боя, передать напряженность, ожесточенный характер сражения, героизм и отвагу защитников Москвы.

У нашего наводчика Отрады
уносит руку дикий вихрь снаряда.
Но он стоит, весь кровью залитой, —
стоит безрукий, с помутневшим взглядом
и левой дергает упавший шнур витой...

Представляя героя-артиллериста к награде, командир части как «документ», подтверждающий отвагу и мужество бойца, приложил страничку фронтовой газеты с поэмой Васильева.

Со временем о великой битве за столицу будут, наверное, созданы более масштабные эпические произведения. Но и тогда поэма «Москва за нами» останется для всех нас волнующим, правдивым поэтическим документом своей эпохи.

Почти все поэмы Сергея Васильева строго сюжетны. Автор, как правило, обращается к таким историческим событиям, которые наиболее созвучны нашему времени.

«Так, например, — замечает он, — маленькая поэма «Анна Денисовна» — это лирический рассказ о судьбе прославленного красного полководца Павла Ефимовича Дыбенко и его матери, а «Москва за нами» — достоверная повесть о сражении на знаменитом Бородинском поле осенью 1941 года, где вновь стояли насмерть русские воины под командой отважного полковника Виктора Ивановича Полосухина, командира 32-й Хасанской дивизии.

От факта идут и все основные события поэтической трилогии «Портрет партизана».

Особое значение, — продолжает Сергей Васильев, — я придаю новой поэме «Достоинство», в которой рассказываю о Герое Советского Союза генерале Дмитрии Михайловиче Карбышеве, показавшем всему миру пример великой национальной гордости и преданности родной земле.

Надо признаться, — подчеркивает он далее, — поэма писалась трудно. Почему? Потому что «подавлял» сам материал: к какому бы периоду биографии героя я ни обращался — он буквально просился в поэму.

При работе над ней я осмелился на строгий отбор фактов, на их обобщение, а порой давал волю домыслу, стараясь не нарушать художественной правды».

Хорошо помню, как после одного из заседаний комиссии Союза писателей РСФСР по увековечению памяти великого поэта России — Сергея Александровича Есенина, бессменным и деятельным председателем которой был до последних дней жизни С. А. Васильев, он несколько неожиданно для окружающих заговорил вдруг с одержимой увлеченностью о генерале Карбышеве, его легендарном подвиге.

— Ну, братцы, хватило бы только сил одолеть тему. Уж очень яркая и дерзкая личность — этот Карбышев. Дух захватывает! Вполсилы трудиться здесь нельзя. А поэма может получиться знатная. Какой драматизм событий, а главное, какой характер — кремень! Я уже взял разбег. Колдую над началом. Теперь главное — не замутить правду о герое стертыми словами.

Шло время, шла напряженная, вдумчивая работа Сергея Васильева над поэмой «Достоинство», поиск, изучение архивных документов о Карбышеве, встреча с теми, кто пережил ужас фашистского плена, неспешные беседы с родными и близкими прославленного генерала. Складывался окончательный замысел: показать бессилие, духовный крах фашизма перед Советским Человеком — стойким борцом-интернационалистом, беззаветно преданным социалистической Родине.

В начале 1972 года Сергей Васильев читает друзьям главы новой поэмы о Карбышеве. Работа близка к завершению. Поэт включает «Достоинство» в новую книгу

«Под небом России». В 1973 году автору поэмы «Достоинство» присуждается Государственная премия РСФСР имени Горького.

В антифашистско-патриотической поэме о Карбышеве Сергей Васильев как художник-реалист поднимается до высот подлинно народной трагедии. Особенно ранит сердце, тревожит душу глава, заключающая поэму, «Еще ступень к бессмертной славе».

Вся она звучит как трагически-скорбный реквием, утверждающий вечную память народного подвига героя поэмы...

Маутхаузен... Проклятое место... Фашистский лагерь смерти. Дикий холод. «Осатаневший ветер с гор». Лагерный двор. У бетонной стены большая группа пленных.

Измученных людей остервенелая «стража-банда» гонит по плацу в «баню-душевую», где пленных поливают «горячим нещадным ливнем — кипятком». Потом охранники выталкивают пленных обратно во двор и из «длинных пожарных шлангов-рукавов» ударяют по лицам и спинам «немилосердной» ледяной струей. Замерзая, пленные падают на землю. Среди тех, кто усилием воли еще удерживается на ногах под этим смертельным дождем, — Карбышев. Вот он, напрягаясь из последних сил, «взметнулся, как будто в споре на износ, отринул воду, разогнулся и очень внятно произнес:

— Бодрее, товарищи! Думайте о своей Родине, и мужество вас не покинет!..»

Как быстро ветер студит воду!
Колени сковывает лед,
но он на них, врагам в угоду,
не падал, и не упадет!..
Как будто белая береста
сменила смуглой кожи гладь.
Так вот как яростно и просто
умеют люди умирать.
Жил человек, судьбы хозяин,
с красивой гордой головой,
а стал легендою, изваян
из непогоды ветровой.

Из ветровой непогоды и... поэтического слова, добавим мы, благодарные Сергею Васильеву за его художественный памятник легендарному сыну России — генералу Карбышеву.

Создавая «Достоинство», вновь и вновь обращался Сергей Васильев к своей памяти — главному источнику, аккумулирующему творческую, эмоциональную энергию поэта. Одна за другой вставали в далях памяти солдата Васильева героические картины священной народной битвы с фашизмом. В тревожные осенние дни 1941 года Сергей Александрович Васильев в рядах Московского ополчения ушел на фронт добровольцем. По дорогам войны он прошагал долгие месяцы как солдат, а позднее — как военный корреспондент. На фронтовых дорогах родились его стихи, опаленные огнем войны: «Русская мать», «Землякам-сибирякам», «Наташа», «Год войны», «Поле русской славы», «Улица Ленина», «Крымский партизан», «Трое у костра», «Весна и победа», «Русский человек».

Гордись, мой друг, что ты есть сын России,
сын рек ее, лесов, озер и нив,
что ты прошел сквозь ливни грозовые,
усталой головы не наклонив.
Пускай тебя кружили непогоды,
но счастлив будь безудержно, до слез,
что принял ты в младенческие годы
благословенье северных берез.

Эти строки могли бы стать прекрасным и точным эпиграфом к Собранию сочинений Сергея Васильева, и, конечно, прежде всего к поэме «Достоинство». Читая эти строки, думаешь и о счастливо-многотрудной судьбе самого поэта, и о прекрасно-трагической судьбе его героя: «Напряженная трудовая жизнь и гордая гибель Дмитрия Михайловича Карбышева являют собой образец величия русского духа,—взволнованно писал Сергей Васильев, — и я буду счастлив, если мне удалось донести до читателя хотя бы часть содеянного им».

Поэма, осбенно эпическая, явно состоявшаяся, несущая в себе мудрость, красоту народных характеров, народной жизни, становится принципиально-знаменательной вехой творческого пути поэта.

Еще значительнее, пожалуй, то обстоятельство, что каждая истинная поэма — это всегда художественное открытие нравственных глубин народной души, новых граней нашего исторического прошлого и настоящего.

Наконец, поэма почти всегда наиболее полно «проявляет» гражданское, общественное лицо автора, его художественную зоркость, мастерство, масштабность, глубину философских суждений. Поэма позволяет нам более полно судить о творческой индивидуальности автора, достоинстве его стихов; равно как именно в поэме очевиднее проглядываются недостатки, присущие творчеству данного автора.

Одним словом, поэма есть поэма! И хотя нет правил без исключений, но без поэмы — своей, неповторимой, самобытно-дерзкой — чаще всего нет истинного поэта.

Сергей Васильев, несомненно, один из видных эпических поэтов в нашей современной многонациональной литературе. Он, бесспорно, выдающийся мастер исторической поэмы. Наглядно и убедительно об этом свидетельствуют его поэмы «Достоинство» и «Изба над Тоболом», а также «Анна Денисовна», «Граница», «Портрет партизана», «Москва за нами», «Первый в мире», «Красный галстук» и другие.

Остается только сожалеть, что в свое время о Сергее Васильеве куда охотнее и чаще писали как о поэте-песеннике, поэте-сатирике, мастере пародийного жанра. Эпический поэт Сергей Васильев, по существу, критикой при жизни раскрыт не был. А между тем, напиши он за всю жизнь только свои поэмы и больше ни строчки, то и тогда Сергей Васильев вошел бы в историю отечественной литературы как яркий, самобытный эпический поэт.

Четыре десятилетия светлой творческой жизни — бурной, напряженной, нравственно окрыленной, событийно исключительно содержательной и удачливой — лежали за плечами Сергея Васильева, когда он завершил последнюю поэму.

«Изба над Тоболом», как и «Достоинство», заставляет невольно вспоминать незабываемые тридцатые годы — то далекое время, когда молодой, красивый, задиристо-озорной Сергей Васильев, автор мало кому еще известной первой стихотворной книжечки «Возраст», выпущенной двадцатидвухлетним поэтом (о которой он

позднее скажет, что это был «холостой выстрел»), печатает в 1935 году солнечное стихотворение «Голубь моего детства», уже давно ставшее классическим. Тогда же Сергей Васильев публикует свою романтическую поэму «Анна Денисовна».

...Ты стоишь. На морщины-полосы
густо падает седина.
Но не скорбью про белы волосы
эта песня напоена.
Разве только причина — волосы?
Песня падает с высоты,
потому что в ней просят голоса
сотни тысяч таких, как ты!..
Если взять боевые годы,
год за годом поставить в ряд,
то при шуме любой погоды
эти годы заговорят.

Красиво, стремительно, полетно, как и его «Голубь...», входил тогда, в тридцатые годы, в большую советскую поэзию Сергей Васильев:

Прямо с лёта, прямо с хода,
поражая опереньем,
словно вестник от восхода,
он летит в стихотворенье.
...О, далекий образ детства,
белый голубь на ветру!

Поэтический «Голубь...» Сергея Васильева далеко не случайно сразу же окрыленно и дерзко заявил о себе. У молодого поэта была своя биография.

Он и сам, Васильев, с озаренностью его души, с летящей строкой его поэзии, уж очень чем-то был сродни своему легендарно-героическому «Голубю...». «Стихотворство захватило меня с такой силой, — вспоминает он позднее, — что буквально день и ночь трудился я над своими поэмами и балладами». Молодому поэту было что рассказать его читателям. В свои двадцать четыре года Сергей Васильев успел многое испытать и пережить. Подростком он ходил за плугом, работал со старшими на покосе. От матери, которая «хорошо пела», он унаследовал песенный дар. Его отец — выходец из крестьян, самоучка-книгочей, перебравшийся из деревни в

город, наделил сына любовью к земле и... печатному слову.

Сергей Васильев рано потерял своих родителей. «В печальном факте сиротства, — подчеркивал он позднее, — есть, однако, свой жестокий резон: закалка».

В юные годы Сергей Васильев живет в Кургане. Здесь проходят его первые школьные годы; здесь со сверстниками он увлеченно играет в «красных» и «белых», весело, с оглушительным свистом «гоняет» своих голубей.

В 1946 году поэт написал одно из лучших своих стихотворений, «Прямые улицы Кургана» — о родном городе, в котором он побывал после долгих лет разлуки.

Кургана улицы прямые!
Увидев вновь вас, понял я
с особой ясностью впервые,
что это родина моя.
Все тот же дом последний с края,
все та же верба сторожит.
Здесь дым младенчества витает
и прах родительский лежит.
Босыми шлепая ногами
по теплой пыли городской,
я здесь пронес сиротства камень
и холодок любви мирской...
Прямые улицы Кургана!
Я вновь и вновь на вас смотрю,
и говорю вам без обмана,
как сестрам брат, вам говорю:
хотя внезапная разлука
и разделила вас со мной,
мне не забыть родного звука,
метели посвист ледяной.
И если есть во мне хоть малость
того, что следует беречь,
так это ваша власть сказалась
и отложилась ваша речь.

Теперь, спустя десятилетия, когда мы обращаем с волнением наш взор ко всему тому, что было создано Сергеем Васильевым за всю его творческую жизнь, мы можем смело, не кривя душой, утверждать, что родные прямые улицы Кургана счастливо стали для поэта образом всей России и что он всегда был верен их сквозной поэтической дали и прямоте.

Тогда же, в тридцатые годы, Сергей Васильев надол-

го покидает родной край. «Вихрастым малограмотным пареньком был я, когда старшая сестра увезла меня из Кургана в Москву, — вспоминает позднее поэт. — Впервые в жизни увидев булыжные мостовые, бегущие по рельсам трамвайные вагоны, берега Москвы-реки в граните, величавый Кремль, Большой театр, побывав в просторных хоромах Третьяковки, я раз и навсегда попал в сладкий плен шумной столицы и полюбил ее верной сыновней любовью.

Москва для меня — это суровая школа труда и учебы, университет житейского и профессионального опыта, с упорством добытое умение преодолевать препятствия на пути к цели — и в цехе, и у станка, и за письменным столом с пером в руках».

Восемнадцатилетний Сергей Васильев печатает свои первые стихи. В эти годы работу было найти еще нелегко. «Куда бы судьба меня ни забрасывала, — рассказывает поэт, — был ли я санитаром или истопником, рабочим-откатчиком на Первой ситценабивной фабрике или актером-чтецом в Мюзик-холле — я уже не расставался с книгой, не выпускал карандаша из упрямой руки. Мечта стать литератором полонила меня целиком, воображение горячилось, душа летела в заманчивую туманную даль».

После «Голубя моего детства» молодого поэта заприметила критика, старшие товарищи из «цеха поэзии», а главное, по-отечески поддержал Горький. «Поэму (речь идет об «Анне Денисовне». — *Ю. П.*) я передал Алексею Максимовичу, она ему понравилась, и он, — вспоминает Сергей Васильев, — напечатал в журнале «Колхозник». Но прежде чем пустить поэму в печать, Горький вызвал меня к себе в дом у Никитских ворот для разговора о рукописи».

Клянусь, что именно тогда
я с трепетом постиг,
как далека еще звезда
моих возможных книг...
Прошло уже немало лет
с большой минуты той,
но не остыл горячий след
в моей душе хмельной.
Мне не забыть, как я сидел,
по капле пил вино,
а Горький думал и глядел

в открытое окно,
туда, поверх московских крыш,
как будто там, вдали,
шумел ему земляк камыш,
кивали Жигули.

Личная биография Сергея Васильева в главных своих чертах неотделима от биографии его поколения — поколения ровесников Октября.

Я вас славлю, мои одногодки!
Я вас сразу теперь узнаю
по особенно легкой походке,
по привычной отваге в бою,
по сиянию глаз, по улыбке,
по летящим в ночи поездам,
по поющей, как иволга, скрипке,
по оставленным в небе следам! —

писал поэт о своем поколении еще в 1939 году.

Верность ленинским заветам, жажда знания, страсть к труду, дух братской дружбы народов, мечта о подвиге во имя Советской Родины — вот что прежде всего определяет лицо этого поколения, наследующего и продолжающего славные революционные традиции героического поколения своих отцов, открывших народам царской России путь в социалистическое будущее. Со своим, ныне легендарным, поколением ему, Сергею Васильеву, предстояло пройти Отечественную войну, освободить Советскую Родину и Европу от фашистских захватчиков, встречать долгожданный День Победы. А затем, рука об руку с молодым поколением, чей трудовой путь берет свой отсчет в первые послевоенные годы, возрождать страну после гитлеровского нашествия, поднимать целину, штурмовать космос, осваивать богатства родной Сибири.

В таких стихах и поэмах, как «Голубь моего детства», «Анна Денисовна», «Граница», «Рассказ о разрушенной поэме», «Море», «Вдохновенье», «Молодой человек», уже тогда, в довоенные годы, счастливо проявились и определились те основные черты поэзии Сергея Васильева, те индивидуальные особенности его художественного стиля, которые в дальнейшем, развиваясь, станут заглавными для всего его творчества, для его гражданской позиции как поэта и человека.

В тот погожий осенний день ехали мы в Рязань. В машине, кроме водителя, нас было трое: Александра Александровна Есенина, Сергей Васильев и я. С рязанцами нам предстояло обсудить вопрос о памятнике их великому земляку — Есенину.

Беседа то затихала, то вспыхивала вновь.

— Давно я так не волновался, — заметил Васильев, — как на днях в Гослитиздате. За жизнь свою мне, слава богу, немало книг довелось напечатать. Но тут случай был особый. Я впервые держал в руках два тома моих избранных стихов и поэм. И вспомнилось мне мое босое, сиротское детство, беспризорная, бесхлебная юность, вспомнилось все, что довелось пережить в разные годы, и, признаюсь, разволновался до слез. Вы скажете, это на меня непохоже. Но что было, то было...

А мы молчали. Мы ничего не сказали. То, что довелось услышать, пожалуй, посильнее, поубедительнее иных стихов показывало: для этого человека поэзия не только профессия, не только ремесло, а суть и смысл всей его жизни.

Произведения Васильева по-настоящему современны, крепко спаяны с жизнью его Родины.

Я весь изъездил шар земной
и весь исколесил.
И Русь всегда была со мной
зарядом гордых сил.

«Изъезжено» и «видано» поэтом действительно было немало, и пережито немало. Казалось бы, можно было чуть поугомониться, отдохнуть. Но «вместо успокоения только одни тревоги», — признавался он в стихах. И нам это признание поэта сегодня особенно дорого: нам радостно осознавать, что чувство тревоги, чувство беспокойства не оставляло поэта до последнего дня его жизни. Где начинается покой, там кончается поэзия.

Когда у поэта за плечами большая жизнь, ему всегда есть что рассказать нам, читателям, о времени и о себе, открыть по-своему новые поэтические дали, новые страницы народной жизни. Многие произведения Сергея Васильева мы смело можем отнести именно к таким художественным открытиям. Не будем увлекаться всег-

да скучным для читателя перечислением названий. Лучшие васильевские стихи, песни, поэмы давно уже на виду.

Сергей Васильев мастерски владел оружием поэтического слова: и лирическим, и сатирическим, и публицистическим, и критически-литературоведческим, и лаконично-эпиграммным, пародийным, и эпически широким — поэмным.

Слово Сергея Васильева и радует, и поднимает настрой души, и зовет к борьбе, и согревает сердце чувством любви и доброты. Это слово вызывает в нашей душе светлую, озаренную улыбку, а порой и горькую скупую слезу.

Слово у Сергея Васильева — не земное, не одолженное временно, напрокат, у других стихотворцев, а свое, кровное, выстраданное, открытое им в глубинах народного языка.

Не только в своих стихах и поэмах, но и в своей «прозе про поэзию» Васильев остается Васильевым. Он ярок, неповторим и в своей обыденной, разговорной речи, и в веселом, с доброй лукавинкой, автографе-посвящении на своих книгах.

Порой стихия слова, влюбленность поэта в слово, наконец, богатство слов, которое он носил в себе, своей душе и памяти, захлестывали Сергея Васильева так бурно и неодолимо, что он на какое-то мгновение как бы утрачивал контроль над собой. И тогда его отдельные стихи, а случалось, и поэмы начинали терять соразмерность своих частей, в них появлялась словесная перенасыщенность, ритмическая вялость, описательность. Хотя сами по себе, в отдельности, эти слова не были холодно-равнодушными и безликими. Они тоже были васильевскими. Но поэтический раствор в данном случае оказывался явно перенасыщенным.

Однако в любом васильевском стихотворении можно найти такие строки, строфы, такие образы, которых до Сергея Васильева в поэзии не было, которые открыл для нас он и которые, встретив в стихах однажды, забыть трудно, а то и просто невозможно! Это касается даже самых «обычных» откликов Васильева поэтической строкой на то или иное конкретное событие. Вспомним, к примеру, какой интересной образной находкой начи-

нает Сергей Васильев свой новогодний тост, обращенный к землякам-курганцам:

Бьет копытами у ворот
необъезженный Новый год....
Поднимаюсь и говорю
прямо на ухо январю...

А сколько ярких, образных открытий в стихах Сергея Васильева о природе. Перечитайте хотя бы «Пейзаж», «Если бы ты была со мною...», «Зима», «В лесу» и другие.

На смену отпылавшему закату
выводит время легкий диск луны.
И вот уже, созвездьями богата,
ступает ночь по тропам тишины.
Легла роса на лиственную крышу,
выходит крот, надежной тьмой укрыт.
Задумчив лес.
И скоро я услышу
трель соловья, поющего навзрыд.

Природа. Родная. Русская. Сибирская. Это еще один из активных героев поэзии Сергея Васильева, без которого ее невозможно представить.

В книге Сергея Васильева «Зарубки на память» есть очень точные и глубокие слова о мастерстве художника, которые помогают нам лучше уяснить, к чему стремился поэт в своем творчестве, в том числе и в своих стихах о природе. «В том-то и сила настоящего мастера — художника слова, — подчеркивает Сергей Васильев, — что ему подвластна «тайна» изображения, что он может обнаружить особую прелесть, найти красоту во внешне небогатом и неброском предмете!

Поэзия поникшей ивы, — продолжает он свои размышления, — у тихой протоки, очарование легкого шума березовой листвы, неистовые трели жаворонка над пашней или спокойный серебряный голос далекой в небе журавлиной трубы — все это надо уметь видеть и слышать, различать, фиксировать в памяти, воспроизводить при помощи верного звука и точной краски».

Прекрасно об этом же сказано поэтом в его стихах:

Любо-дорого
осенним вечерком

над притихшим хлопотать черновиком,
заревую даль писать не с потолка,
а вдыхать в строку живые облака,
не искусственных событий прочить нить,
а верстать пережитое и гранить,
не высасывать из пальца и не лгать,
а правдивое и точное слагать,
в меру сил стараясь передать
грозовой,
родной природы благодать.

Сергей Васильев во всем непримирим к полуправде, а особенно к мертвой красоте! Красота истинная неотделима от правды, ибо правда жизни в искусстве, как и сама жизнь, всегда прекрасна. Поэт эту истину выстрадал. С годами все больше главным для него становится в стихах глубинная красота чувств, красота живой души человека. В этом отношении «программным» для поэта является стихотворение «Красота»:

У той, красивой, как бы внешне
она была ни хороша,
как праздный чиж в чужой скворешне,
сидела мертвая душа...

И он ушел к другой, в которой
прозревшим сердцем разглядел
характер жить в работе спорой,
привычку жаждать срочных дел...

Она совсем, совсем другая,
скромны спокойные черты,
зато она полна до края
неотразимой чистоты...

Он некрасивой верен свято,
и он обходит за версту
ту, ослепившую когда-то
полуживую красоту.

Личное чувство, самое сокровенное в душе поэта, рожденное в мучительных сомненьях и раздумьях, всегда волнует тех, кто обращается к его стихам. Оно — это личное чувство — общечеловечно. Этим подлинная поэзия всегда отличалась от ремесленных поделок. Глубоко личная поэзия Сергея Васильева, особенно его лирика, с ярко выраженными чертами национального характера, — интернациональна и общечеловечна в самом высоком смысле слова.

В поэзии всегда виден характер ее творца. У героя Сергея Васильева, олицетворяющего наш советский народ, в характере, как и у самого поэта, есть неповторимые индивидуальные черты, присущие многим коренным сибирякам. Очевидна стойкость души васильевского героя, его степенность, его напористость, а вместе с тем доброта и народность. Он, герой Сергея Васильева, не суетится в стихах, не произносит громких, «красивых», а по сути дела, пустых фраз. Отсюда и весомость, значительность мысли у поэта, и его неспешная, доверительная, разговорная интонация. Он — поэт — не над людьми, а вместе с ними и в своих стихах.

— Ну, кажется, сотворил что-то такое, что и сам не знаю. Но здорово! Вот послушай!

Радостный, возбужденный Сергей Васильев читает только что написанное им, по-народному философски мудрое стихотворение «Реки-человеки». Оно — все на одном дыхании. За личной тревогой и болью в нем звучит нескрываемая озабоченность поэта людскими судьбами. С бескомпромиссной прямотой размышляет он об этом:

Мы Волгу и Дон славословим богато,
а есть ведь Онега, Катунь, Селенга.
У рек этих дивных свои перекаты,
свои — да какие еще! — берега...

И влаги в тех реках, и силищи много,
и струи на стрежне винтом завиты,
и стелется водных раздолий дорога,
баюкая баржи, качая плоты.

. . . .

Но мы эти реки вниманьем минуем,
а если и вспомним, то так, без души...

Есть люди, похожие очень на реки,
то бишь на Онегу, Катунь, Селенгу.
По многим приметам они — человеки,
однако про это — никто ни гугу.

И если случится пирог премиальный
на красном пиру иль заздравный сосуд —
Онегу, Катунь, Селенгу машинально
с улыбкой, с поклоном, а все ж обнесут.

И что? Ничего. Перемогут обиды,
махнут на обнос незлобивой рукой.

«Что ж, — вымолвят, — нет, значит,
волжской планиды
и нету удачливой доли донской!»

Встряхнутся. Расправят затекшие плечи,
проверят в ладонях надежность весла
и ринутся новой работе навстречу
по бурной струе своего ремесла.

Это прекрасное стихотворение как выразительный и точный автопортрет самого поэта и одновременно портрет народа, совестливым и отзывчивым сыном которого был Сергей Васильев и с которым всегда стремился установить самый близкий и доверительный контакт.

Поэт и у других писателей превыше всего ценил это качество. «У Михала Исаковского, — отмечал Васильев, — был свой железный творческий принцип: быть понятным и полезным тому, для кого он пишет». Сергей Васильев и сам руководствовался этим «железным принципом». Его стихи обращены к народу. В них все «просто», «все понятно, все на русском языке».

Сергей Васильев обладал на редкость чутким и выразительным поэтическим слухом. Его стихотворный оркестр исключительно полнозвучен. В нем прекрасно прослушиваются все «инструменты»: и широкое, могучее, ритмическое дыхание эпической поэмы, и порывисто-просветленный, а порой и взрывчатый ритм его любовной лирики, и нежный ритмический рисунок стихов о природе, и гулкий, чеканный ритм баллады, и мелодичный распев многоголосой песни, и веселый плясовой ритм частушки.

Умел Сергей Васильев по-доброму улыбнуться в стихах, а то и просто озорно, по-сибирски, побалагурить. Не любил и чужд был лишь одного: «перехмура» и «административного сурьеза» в стихах.

Демократизм, народность Сергея Васильева — и в песенном ладе его души. Вскоре после войны буквально вся страна запела одну из известнейших и ныне васильевских песен — «Дорожную», с ее раздольным, звонким припевом:

Любимая, знакомая,
Зеленая, бескрайная,
Земля родная — Родина!
Привольное житье!

Эх, сколько мною езжено,
Эх, сколько мною видено,
Эх, сколько мною пройдено, —
И все вокруг мое!

Словно на крыльях, полетела эта величальная песня над Родиной, только что разгромившей лютого врага — фашизм. Она была обращена к сердцу народа-победителя, к сердцу каждого, кто был причастен к этой великой победе, — и сама стала народной. Стихи-песни Сергея Васильева, как правило, в высшей степени мелодичны, эмоциональны, образны. В них звучит музыка русского народного слова. Вспомним песню-легенду Сергея Васильева о раненой березе. Поэт создает неповторимый образ березы в пору военного лихолетья. За ним, за этим образом, встает вся Советская страна, в те дни тяжело раненная под Москвой, но нашедшая в себе силы выстоять и разгромить врага на подступах к столице:

Я помню, ранило березу
осколком бомбы на заре.
Студеный сок бежал, как слезы,
по изувеченной коре.

За лесом пушки грохотали,
клубился дым пороховой.
Но мы столицу отстояли,
спасли березу под Москвой.

Такие стихи и без музыки звучат в душе и сердце. Как резко они отличаются от тех пресловутых текстов для песен, которые, к сожалению, словно прожорливая саранча, заполняют эстраду, радио, телевидение. И как жаль, что в последние годы Сергей Васильев крайне редко обращался к этому народному жанру поэзии, которым он владел в совершенстве.

Порой у Сергея Васильева мы можем встретиться с художественными просчетами. В большом поэтическом хозяйстве это почти неизбежно. Чаще всего эти просчеты являются как бы продолжением бесспорных достоинств поэзии Сергея Васильева: и прежде всего неуемной эмоциональности, которая иногда выплескивается через край в стихах поэта. Но главное остается главным: в его стихах нет ни одной фальшивой ноты. Из правды подвига его героев, правды стихов о приро-

де, о любви складывается главная правда поэзии Сергея Васильева — правда настоящего и будущего его социалистической Родины.

В стихах Сергея Васильева слышится явственно доброе кольцовское и никитинское начало и, пожалуй, всего сильнее — могучие отзвуки некрасовской музы. Оказали свое определяющее влияние на Сергея Васильева, как в пору становления его таланта, его партийного мировоззрения, так и в годы расцвета его творчества, зачинатели и первопроходцы советской поэзии — Владимир Маяковский и Демьян Бедный, Александр Блок и Сергей Есенин. Поэт неоднократно подчеркивал это в стихах, статьях и выступлениях. В лучших своих поэмах и стихах Сергей Васильев не повторяет, не копирует великих предшественников — классиков XIX века и советской литературы.

Наследуя их святые гражданские и художественные традиции, Сергей Васильев в своих глубоко партийных стихах рассказывает о России, возрожденной Лениным, Октябрем, коммунистами.

Только любя свой народ, свою Родину, можно стать действительно интернационалистом. Поэзия Сергея Васильева — убедительный тому пример. Сколько в его стихах, таких, как «Мы помним!», «Сделано в СССР», «Улица Ленина», «Байкал», «Хотел бы я похожим быть...», «На декаде русской поэзии в Грузии», «Люблю Баку» и многих других, чувства нерушимой братской дружбы народов, сколько сыновней гордости их революционным прошлым, сколько восхищения их ратными и трудовыми победами в годы Советской власти.

Символичен и полон глубокого смысла тот примечательный факт, что ныне есть улица имени Сергея Васильева и в родном городе поэта — Кургане и в Баку. Поэт любил этот город широко и красиво, любил его всей душой:

Боготворю Баку за то,
что на его крутом плато
зажглись, насилью вопреки,
рабочих стачек маяки.

До сей поры, до сей поры
горят далеких дней костры,

живут отважные сыны
в сердцах народов всей страны...

Боготворю Баку за то,
что здесь незримо разлито
в союзе с дивом южных роз
дыханье северных берез.

Люблю Баку за то, что здесь
передо мной раскрылся весь
и принял в свой лукавый мир
печальник нации — Сабир.

Люблю воитель-город за
бакинцев знойные глаза,
в которых вдруг отражены
и нефть, и лунный блеск волны.

Сергей Васильев неоднократно приезжал в Азербайджан. Здесь у него было много друзей, и не только среди писателей, но и среди рабочих-нефтяников, и виноградарей, студентов и школьников. Они хорошо знали Сергея Васильева, с интересом читали его новые стихи, встречались с ним на литературных вечерах. Осенью 1974 года вместе с группой российских писателей, которую возглавлял тогда Сергей Васильев, мне довелось участвовать в Днях поэзии Есенина в Баку. Это был незабываемый праздник дружбы нашей многонациональной литературы. И надо было видеть, с какой восторженной сердечностью встречали бакинцы как своего самого близкого гостя-друга Сергея Васильева.

Ведь именно он, Сергей Васильев, столь талантливо и дерзко впервые перевел на русский язык стихи классика азербайджанской поэзии — Сабира:

Зоркий поэт Сабир!
Пристальное перо!
Жало твоих сатир
впрок до сих пор остро!

«Сабир для меня, — убежденно писал Сергей Васильев, — азербайджанский Некрасов и азербайджанский Крылов одновременно».

Сабир!
Пусть промчатся дни,
года пролетят, века.
Гнев твой — любви сродни.

Грусть — доброте близка.
Хочется мне, чтоб ты
по-русски заговорил
голосом прямоты
в полную меру сил.

В стихотворных переводах «печальника нации» Сабира засверкал новыми гранями общепризнанный при жизни сатирический талант Сергея Васильева.

Все, что было разведано поэтом в его неустанном сатирическом поиске, что было закреплено им за долгие годы творческой жизни в жанре сатиры и что наиболее полно художественно было им воплощено в известных сатирических стихотворных циклах «Ироническая смесь», «Дубина и сироп», «Американская тетрадь», а также в знаменитых, до сих пор непревзойденных васильевских литературных пародиях и эпиграммах, составивших позднее содержание таких сатирически-наступательных книг, как «Взирая на лица», «Чей огонь жарче горит» и «Одиночество на миру», — все это, вместе взятое, позволило Сергею Васильеву как поэту-сатирику раскрыть и передать в стихотворных переводах Сабира национальное своеобразие поэзии азербайджанского сатирика, сарказм и боль, мудрость и скорбь его стихов, их общечеловеческий пафос. «Переводом стихов Сабира на русский язык, — отмечал Сергей Васильев, — я стремился внести свой скромный вклад в благородное дело сближения культурного наследия двух братских народов».

Сердечное уважение к другим народам, их национальным традициям, культуре, литературе, нескрываемая радость встречи с людьми труда на всех континентах и параллелях земного шара: в Болгарии, в Польше, в ГДР, в Венгрии, в Италии, во Франции, в Америке, о чем поэт с такой открытостью чувств поведал нам в своих стихах, — в высшей степени характерны для всего интернационально-партийного его творчества.

Судьба была на редкость благосклонна к Сергею Васильеву, столь щедро одарив его талантом стихотворца.

Он смог создать произведения и лирические, и эпические, и сатирические, которые сейчас широко известны. Выше говорилось о Васильеве — мастере такого монументального жанра, как эпическая поэма.

Предположим теперь, что в наследии поэта были бы лишь одни его литературные пародии и эпиграммы. В этом случае Сергей Васильев вошел бы по праву в историю советской литературы наряду с таким маститым автором пародий, как Архангельский. Вспомним сказанное Александром Фадеевым: «При наличии ряда талантливых авторов в этой области С. Васильев пока что не имеет себе равных». Слова эти справедливы и сегодня.

Допустим, что нам известны только песни Сергея Васильева. И в этом случае мы вполне законно отвели бы Васильеву достойное место среди наших поэтов-песенников, таких, как Лебедев-Кумач или Алексей Фатьянов. Но ведь хорошо известно, что жанр песни был лишь одной из многих «забот» Сергея Васильева.

Представим далее, что всю жизнь Сергей Васильев выступал только как поэт-сатирик и в его наследии имеются лишь сатирические стихи. Он по праву считался бы одним из наших замечательных сатирических поэтов.

В жанре стихотворного перевода, как мы знаем, Сергей Васильев с особой силой проявил себя в Сабире.

Эти переводы вывели поэзию Сабира на всесоюзную орбиту и прочно утвердили имя Сергея Васильева среди наших ведущих поэтов-переводчиков.

Такие книги, как «Проза про поэзию» и особенно «Зарубки на память», позволяют во весь голос говорить о Васильеве-критике, в высшей степени принципиальном и проницательном, тонко чувствующем художественную плоть и стиха и прозы.

У Сергея Васильева всегда свой взгляд на писателя, о жизни и творчестве которого он размышляет в своих статьях, очерках, заметках, рецензиях, эссе. Кажется, вы уже все знаете об этом писателе. Но вот вы прочитали то, что думает о нем Сергей Васильев, и вам открываются новые, весьма существенные стороны таланта либо примечательные факты творческой биографии.

Все это, вместе взятое, и делает художественное наследие Сергея Васильева — выдающегося русского поэта — по-своему неповторимо-уникальным в советской многонациональной литературе.

ОСНОВОПОЛОЖНИК

Я пою для века песни
Возрожденного народа!

Ю в а н Ш е с т а л о в

«Когда я смотрю на отца, — размышляет в «Языческой поэме» Юван Шесталов, — голубоглазого, кудрявого, когда любуюсь, как он мастерски перебирает в неводе сосьвинскую селедку, когда я слышу легенду о нем, живом, о коммунисте, одном из организаторов первых мансийских колхозов, невольно задумываюсь: *а кто же я такой?* (подчеркнуто мной. — *Ю. П.*).

Когда околдован я длинными, как зимняя ночь, сказками, когда в древних песках вдруг кольнут меня слова:

Мы уйдем, покинем землю,
Чтобы больше не родиться... —

я задумываюсь: *а кто такие манси?* (подчеркнуто мной. — *Ю. П.*).

Еду ли по степям Бурятии, брожу ли по древней новгородской земле, беседую ли на берегах Дуная, на горе Гелерт с каменным Юлианом, я задумываюсь о судьбах народов...» *

Я, мой народ, человечество. Каковы внутренние духовные связи этой вечной триады жизни в наше время, наш век? Какова в этом, постоянно меняющемся, сложном, противоречивом современном мире моя миссия?

Я знаю,
что, стоит глаза распахнуть —
ворвется
вселенная
яростно в грудь.

---

* Ю в а н Ш е с т а л о в. Языческая поэма. М., «Современник», 1973, с. 162. В дальнейшем все цитаты из «Языческой поэмы» даются в тексте по этому изданию.

Что я приемлю в этом мире всей душой? Что отвергаю и ненавижу? Что все больше тревожит мою совесть, не дает покоя моему сердцу?

Семь седых веков суровых
За ночь мимо проплывает...
Видишь:
Жизнь таежных манси,
Жизнь охотников таежных
В плясках огненных встает.

И вновь: вопросы, вопросы, вопросы... Почему так сложилась судьба моего народа — манси — в прошлом? В чем его радость, счастье? Что больше всего волнует мой народ сегодня?

Там, где гаснет огонь, где сердца холодны,
Там беззвучно рождается ветер войны,
Не забудьте, земные, о мирном тепле!
Не забудь, человек, о высоких кострах,
Даже если метели высоко в горах,
Даже если тебя не морозят они, —
Пусть не гаснут костров золотые огни!

И опять тревожные раздумья: что ждет людей планеты Земля в будущем? Сумеют ли они сохранить для потомков красоту, богатство природы?

Летите, люди, в космос,
Сверлите, люди, землю.
Смотрите туда,
Куда я заглянуть не могу.
Но берегите
Белые мои озера,
Ибо
Почернеет небо без белых лебедей,
Почернеют ночи без белых лебедей,
Под зеленой травой
Проступит черная пустошь.

Чем больше задумывается поэт-манси над этими сложнейшими проблемами, неодолимо встающими в наши дни перед каждым истинным художником, чем пристальнее он вглядывается в даль своей памяти и в даль памяти своего народа, в историю и современную жизнь других народов, тем больше возникает в его сознании, в сердце и душе подобных тревожных, далеко не однозначных вопросов-раздумий.

Есть такое у поэта
Право помнить о былом!
Даже в полдень коммунизма
Я оплачу горе предков
И спою о беспокойном
Пробуждении моем.

Он и нас, читателей его книг, невольно заставляет почти по-гамлетовски задуматься над многими проблемами нашего века, острее почувствовать свою личную ответственность за все, что свершается в мире сегодня:

Я — человек.
Захочу — и отныне
Юной красавицей станет пустыня.
Я — человек.
Захочу — и отныне
Станет земля... молчаливой пустыней...
Я — человек.
Перед именем этим
Быть мне пожизненно в строгом ответе!

Что же касается самого Ювана Шесталова, то он не только настойчиво стремится глубоко задуматься в своих стихах и прозе над всем, что происходит в окружающем его мире (хотя одно это уже само по себе примечательно и очень важно в наш век «бешеных» скоростей и ритмов жизни, когда, к сожалению, часто некоторым из нас бывает некогда и подумать-то по-настоящему), он пытается честно, мужественно, убедительно ответить на поставленные вопросы, показать правдиво в своих книгах нелегкий, тернистый путь познания художником объективной истины.

Это характерно для всего творчества Ювана Шесталова, как основоположника литературы манси, и особенно полно проявляется в «Языческой поэме», несомненно, его главной книге.

В свое время мне довелось счастливо, одним из первых познакомиться с рукописью «Языческой поэмы». В начале 1971 года издательство «Современник», куда я был назначен директором, еще только организовывалось. Из большого количества поступающих тогда рукописей надо было отобрать те, которые следовало напе-

чатать в первую очередь. Читать в ту пору приходилось очень много всем работникам издательства. Хорошо помню тот зимний мартовский вечер, когда в руках у меня впервые оказалась рукопись «Языческой поэмы». После дневных забот я погрузился в рукопись малоизвестного мне автора.

При ее чтении с первых же страниц открывался такой романтически-прекрасный и неповторимый мир, встреча с которым всякий раз воспринимается как та нечаянная радость, от которой душа светлеет, сердце бьется трепетнее и ты как-то само собой начинаешь забывать про все: и про твои дневные заботы, и про усталость, и про те большие и малые огорчения и неприятности, которые бывают у каждого из нас.

Картины живой жизни, воссозданные автором «Языческой поэмы», были столь необычны и первозданны, столь эмоционально-возвышенны и образно-метафоричны, столь напряженно-глубоки по мысли, по своим гражданским идеалам, наконец, столь драматичны, а порой и трагичны, что их невозможно было воспринимать спокойно и тем более равнодушно. Надо ли удивляться, что рукопись «Языческой поэмы» я прочитал в тот вечер сразу же от начала до конца, не отрываясь от ее волшебных страниц.

Было такое ощущение, как будто ты испил из родника студеной, ключевой воды. Хотелось, чтобы радость встречи с прекрасным, которую только что ты пережил, смогли бы почувствовать и пережить другие; возникало желание побыстрее рассказать о только что прочитанном друзьям и близким. Глубоко убежден, что тогда, в 1971 году, «Языческая поэма» была по праву напечатана в числе тех первых шести книг «Современника», которые вышли ко дню открытия пятого съезда советских писателей. В 1973 году «Современник» выпустил второе издание «Языческой поэмы». А ранее, весной 1972 года, напечатал новую повесть Ювана Шесталова с удивительно звучным названием «Когда качало меня солнце». По существу, эта повесть — поэма в прозе. Она еще раз подтверждает, что все написанное Юваном Шесталовым до настоящего времени — все это истинная поэзия жизни.

* * *

Постоянны думы Ювана Шесталова об окружающем его мире; он как поэт наделен чувством сопричастности ко всему, что происходит, что свершается и на Земле, и в бескрайних просторах вселенной:

Земля моя кружится — и я кружусь.
Солнце повернется — и я повернусь...

Я ли не сказочный доктор Земли?
Слушаю: сердце твое не болит?..

Дедов легенда — торжественный звон
Сказку рождает для новых времен.

Кажется, нет в душе поэта предела жажды познания, жажды открытия красоты земли, новых сказок, которые творит сама жизнь. Зримо ощущаем мы все это в книгах Ювана Шесталова, где воистину сказочной новью предстает перед читателем сегодняшний день нашей Родины — день созидания и героики труда.

«Юрга моя!.. Время богов прошло. Время творцов настало. Кто же твои созидатели? Я хочу их понять». Поэт «просит» свою родную землю, чтобы она открыла ему этих новых героев, подарила ему «свое новое сказанье».

Древняя земля манси запрятала в своих подземных кладовых огонь жизни — нефть и газ. Героическим трудом соотечественников поэта был наконец добыт этот «чудо-огонь». Хорошо запомнил этот великий день в истории своего народа будущий поэт манси, тогда ученик школы-интерната: «За нашей каменной школой, на краю поселка, там, где вчера железной лестницей в небо стояла буровая, теперь в ночи полыхал огонь. Грозный огонь, которому суждено было встряхнуть край, обновить его». И вот уже звучит в «Языческой поэме» «Песнь земли» в честь ее новых героев, ее созидателей:

Вы ко мне пришли,
Герои,
Как в легенду,
В темный лес.

Есть болото,
Нет дороги,
И на сотни лет —
Объезд.
Я дарю вам
Запах нефти,
Грохот газа,
Древность слов.
Океан тепла и света —
Все для умных
Смельчаков.
Я — мансийская земля.

Древняя мансийская земля, ее прекрасный народ, на долю которого в прошлом выпало так много бед и страданий, особое чувство в наши дни испытывает и проявляет к своему старшему брату — русскому народу:

Когда в немыслимую стужу
Погибла мать моя, когда
Мою мальчишескую душу
Заледенили холода, —
Мне на плечо рука России,
Как материнская, легла.
Россия мне и ум, и силу,
И кровь, и сытный хлеб дала.

Эти строки как откровенье, как сыновняя песнь благодарности. Поэт манси сказал то, что может по праву сказать сегодня о России ленинской, России Советской каждый из братских народов нашей социалистической Отчизны.

Самые волнующие, самые светлые страницы своих книг посвящает Юван Шесталов своей большой Родине — России.

Это «русская женщина», юная учительница-комсомолка, приехавшая на север, в тайгу и тундру еще в первые годы Советской власти, открыла маленькому Ювану, так рано потерявшему свою мать, новый «волшебный» мир:

Мне сердечное слово шепнула, как мать,
Повела меня в школу, где учат читать,
Где метлой прогоняют из детских умов
Коротышек-божков и лесных колдунов.

Это «русская женщина» с голубыми, как озера, глазами и светлыми, как лен, волосами одарила его чистой любовью:

Мне снится русая богиня,
Я в сон по сердце погружен.
И сон сбывается. Уж ныне,
Наверное, то вещий сон.

Она зовет меня: «Смелее!» —
И приближается ко мне.
Я словно ветка пламенею
На обжигающем огне.

Я напрягаюсь, замираю,
В душе моей — и свет и грусть.
И наконец-то я сгораю
И человеком становлюсь.

Это «русская женщина» стала для него самым надежным другом и товарищем, матерью его детей. Придет время, и он скажет о своей дочке в «Языческой поэме» слова, полные глубочайшего смысла:

И пусть еще такое будет:
Две крови в ней одной живут,
Пускай ее мансийкой люди
И россиянкою зовут!

Это русский народ, великий Ленин вернул маленькому, но древнему народу манси «чашу золотую» — его извечную мечту о счастье, которую в прошлом у него украли «злые духи» старой царской России:

Слезы горя, слезы гнева
Растопили горы снега,
И на крыльях птиц весенних
Прилетело счастье к нам.
Зрело, зрело пробужденье!
И большое имя Ленин
Прозвенело над рекою,
Прокатилось по лесам!

Вот почему столь возвышенно-правдивы «думы» о «русском мужике», Медвежьей Голове, олицетворяющей в «Языческой поэме» и совесть, и сердце, и ум народа манси.

Медвежья Голова
Сейчас вам скажет слово.
То слово коротко,
Как северное лето.
Его сказать легко —
В нем лжи ни капли нету.

О русском мужике
Мое лесное слово:
— Он мудр, настойчив и силен,
И справедлив он испокон,
И дружбе верен он.
Голодного накормит он,
Холодного — согреет он, —
Таков его Закон.

Быть может, для путей морских
Корабль на крыльях колдовских
Построит завтра он.
А послезавтра — на Луну,
Пронзив небес голубизну,
Ворвется, как циклон...

Клубятся в небе облака,
Над миром пролетая.
Большое сердце мужика —
Что чаша золотая!

Читаешь в «Языческой поэме» пронзительные думы Ювана Шесталова о «русском мужике», и невольно встают в памяти классические образы: и семи «временно обязанных» мужиков Некрасова, задумавших во что бы то ни стало допытаться и разузнать, «кому на Руси жить хорошо»; и рязанского мужика — Прона Оглоблина из поэмы Сергея Есенина «Анна Снегина», мечтающего побыстрее устроить в своем селе коммуну; и донского мужика — Макара Нагульнова, «заостренного» с головы до пят «на мировую революцию»; и смоленского мужика — Василия Теркина, ведущего смертельный бой с фашистскими захватчиками «ради жизни на земле»; и воронежских мужиков из новой мудрой поэмы Егора Исаева — «Даль памяти».

* * *

«Языческая поэма» при всей своей метафорической легендарности и сказочности, при постоянном, пристальном внимании поэта к прошлому народа манси, прошлому всей России, к истории Человечества — вся наполнена пафосом современности. Не однажды высказывает в ней поэт мысль о том, что

Может, эти сны и песни
В глубь веков укажут путь,
Только все же интересней
В будущее заглянуть!..

Все это обогащает самобытнейшую поэтику Ювана Шесталова. Помнится, Лев Толстой, восторгаясь стихами Фета, говорил о «поэтической дерзости» их автора.

Многие, очень многие страницы «Языческой поэмы» Ювана Шесталова покоряют нас прежде всего именно своей «поэтической дерзостью».

Я плыву в крылатой лодке
По волнистым облакам
Сквозь родное, сквозь былое —
К неизведанным векам...

Серебристыми ветвями
Машут реки позади.
И озерными глазами
В небо Родина глядит.

В роще старого шамана
Восемь домиков стоит.
Нефтевышка талисманом
На груди тайги горит.

Я лечу! Я сын крылатый
Края сказочных лесов.
Будто пуговки халата,
Свет таежных городков.

Обь-река — мечты другие.
Караваны вниз пошли,
Будто камни дорогие
В древнем поясе Земли.

И железная цепочка —
Новый путь Тюмень — Сургут
Разошьют и оторочат
Весь халат — мою тайгу.

Я плыву в крылатой лодке
По волнистым облакам.
Сквозь родное, сквозь былое —
К неизведанным годам.

Каждый раз, читая подобные стихи, а их много, очень много в «Языческой поэме», не перестаешь восторгаться самобытным талантом и мастерством ее автора, — тому, с какой «легкостью» и вместе с тем «дерзостью» Юван Шесталов, образно «стыкует» на первый взгляд, казалось бы, совершенно несовместимые слова и понятия, которые весьма часто встречаются в повседневной разговорной речи и которые в отдельности сами

по себе начисто лишены какой-либо поэтической образности.

«Нефтевышка», «талисман», «грудь», «тайга» — какие это действительно далекие друг от друга слова! Какие несовместимые понятия! Только в душе истинного поэта могли они «переплавиться» в такие стихотворные строки:

Нефтевышка талисманом
На груди тайги горит.

И дело тут, конечно же, не просто в формальном поиске. Романтические образы стихотворения «Я плыву в крылатой лодке...» передают картину тех колоссальных свершений и коренных изменений, которые принесла в тайгу Советская власть, наша сегодняшняя действительность. Все, что поэт видит вокруг себя, — все это происходит в его тайге, на его родной сибирской земле, которая дорога, близка ему до каждого своего самого дальнего и глухого уголка, до каждого таежного ручейка, до каждой лесной полянки, до каждой затерявшейся в тайге охотничьей избушки.

В сердце матери сердце родилось мое,
В сердце доброй Миснэ сердце родилось ее.
В сердце народа родилось сердце Миснэ лесной,
А сердце народа родилось в сердце земли родной.

Юван Шесталов первым в истории своего народа смело обратился к богатейшим сокровищам древних мансийских сказаний, легенд, песен. Ему было и легко: до него никто из писателей их не касался, никто не трогал, никто не пытался обрабатывать, вводить в современный стих; но ему было и трудно, ибо надо было вдохнуть в древние легенды «душу живу», сделать так, чтобы в современной поэме они не выглядели наподобие застывших музейных этнографических экспонатов: поэзия не музей, а живая жизнь. Надо было, чтобы эти легенды и песни, не теряя своей древней, седой истории, звучали современно, помогая познанию бытия, познанию нравственных, философских, социальных проблем нашего времени.

Подстерегала Ювана Шесталова как поэта, обратившегося к художественному прошлому своего народа, к духовному его наследию, еще одна реальная опасность,

весьма часто дающая о себе знать в творчестве многих стихотворцев. Этакая облегченная «модернизация» старины, возникающая из желания в угоду «моде» во что бы то ни стало «пококетничать» в стихах с прошлым, «приблизить» это прошлое к настоящему, «осовременить» его. При этом практически все сводится к такой нарочито «модерновой», по сути дела, формалистической обработке старинных песен, легенд, преданий, что в «современном» прочтении из них начисто выпадает главное: их богатейшее содержание, их народность и неповторимо самобытное звучание.

Всего этого «модного» соблазна счастливо удается избежать в своем постоянном и настойчивом обращении к поэтическому, историческому и духовному наследию своего народа Ювану Шесталову. Все его творчество и особенно «Языческая поэма» — пример того, какие богатейшие возможности открывает прошлое перед поэтом, который не ради шумной «моды», а ради сути художественного познания духовной жизни своего народа в прошлом стремится войти в это прошлое и взять из него все наиболее ценное и значительное для настоящего и будущего.

От «песни» к «песне» (их всего восемь глав-песен в «Языческой поэме») становится все очевидней, что главное для Ювана Шесталова — наш день, жизнь его народа сегодня: «Ледяная земля проснулась от вековой спячки. Она разгоряченно дышала, снимая с себя шубу из дремучей тайги, опоясываясь стальными нитями дорог и трубопроводов. Она гудела под железными копытами нового кочевья. С радостью наряжалась в ожерелье городов, сияя счастливыми глазами новых огней... А герои шли, шли, шли. Шли в пургу, в мороз, в зной... И я был вместе с ними. Я тоже был героем. И мои уши глохли от железного рокота... И я летел на стальных птицах, обгоняя время, не чувствуя движения Земли...»

Даже тогда, когда поэт обращается к прошлому, он чаще всего делает это для того, чтобы извлечь из прошлого урок на будущее. Такова, например, в «Языческой поэме» «Песнь вторая». В ней древняя мансийская легенда о Медвежьей Голове очень органично и впечатляюще повернута в наше время. Все пять дум Медвежьей Головы строятся автором на психологически

тонком, ироническом подтексте, что углубляет их содержание, делает по-настоящему современным звучание древней мансийской легенды. В одной из своих дум Медвежья Голова рассказывает о том, как давным-давно «чайка-птица» похитила «золотую чашу манси»:

Это было, было, было!
Знамо, было — только сплыло...

В старину ругали чайку:
Это, мол, она украла
Золотую чашу счастья,
Чайка-птаха, чайка-птица.

Но, оказывается, что и ныне кое-кто хотел бы в иных своих трудностях и недостатках порой винить лишь все ту же «зловредную» птицу... чайку!

Так и этот мутноглазый
Прихлебала-прилипала
Все готов свалить на чайку:
— Ах, воровка!.. Ах, срамница!..

Так всегда и всюду было:
Коль народ в глубоком горе —
Тотчас выдумывают сказку:
«Виноваты чайки в море!..» —
И найдут виновниц-чаек,
И ругают люди чаек,
Так пушат их —
В хвост и в крылья, —
Что летят и пух и перья!

Эти иронические думы поэта манси как бы продолжают и развивают мысли известного стихотворения Леонида Мартынова «Рыбинское море», написанного им еще в середине 50-х годов. В нем так же все свои просчеты и ошибки люди пытаются объяснить лишь одним обстоятельством: «Виновато Рыбинское море».

Полна глубокой, нескрываемой авторской иронии и заключительная сцена четвертой думы Медвежьей Головы, когда манси, провожая «священного зверя» — медведя — в новый «богатырский путь»,

...Заклинают зверя заклятьем.
Ублажают его молитвой.
Величают «Могучим Духом».
Главою рода стать его просят...
Воспевают его, проклинают его, умоляют и бьют.

Действительно, порой странно ведут себя люди, и трудно иногда бывает даже мне, мудрой Медвежьей Голове, до конца понять и объяснить их поступки. Так думает Медвежья Голова. Так размышляет автор. А вместе с ними и мы — читатели «Языческой поэмы».

Всем нам автор «Языческой поэмы» как бы хочет еще раз сказать откровенно, без тени резонерства и назидательной поучительности: «Дорогие друзья! Не делайте слишком поспешных, односторонних и однозначных заключений и выводов о сложных, противоречивых явлениях общественной жизни; будьте терпеливее, мудрее, старайтесь не впадать из одной крайности в другую, не ищите виновных только вокруг себя, проявляйте большую требовательность к себе, не пытайтесь все сваливать на голову других, не выплескивайте сразу на людей «всю хулу», и «всю хвалу», не вините во всех бедах «чайку-птицу».

Следует особо подчеркнуть еще одно весьма важное и принципиальное обстоятельство: автор «Языческой поэмы» далек от упрощенно-идиллического и облегченно-одностороннего взгляда на действительность. Он видит и те огромные успехи в социалистическом обновлении древней мансийской земли и всей его Отчизны; видит колоссальные достижения в строительстве нового, социалистического общества, в формировании коммунистического мировоззрения, новой морали и нравственности советского человека; но он видит вокруг себя и то, к чему невозможно относиться равнодушно, и то, что волнует и тревожит его совесть, особенно сильно в родных краях.

Зашагавшие в тайгу буровые вышки, чудо-огонь — нефть и газ — обернулись и новой радостью, и новой... заботой. «Тайга съежилась. Верхушки кедров стали корявыми скелетами. Брусника почернела. Под седым пеплом грибы склонили голову... Все живое задумалось».

Задумался глухарь:

В ушах моих — пепел,
В глазах моих — дым.
Куда же мне деться
От этой беды?

Встревожился осетр:

Ловили все рыбешек слабых
Тут подо льдом.
Но так никто еще не грабил
Хрустальный дом.

Но больше всех обеспокоен и взволнован всем этим в «Языческой поэме» сам автор:

Ну, зачем леса сжигать нам,
Ну, зачем цветы топтать нам,
Из живого человека
Делать чучело к чему?

Конечно, важно беречь живую природу. Но еще важнее — беречь самое дивное творение природы — беречь человека, его душу, его отношение ко всему живому на земле. «Юрга моя! Мчусь я на железном коне. У него и ноги железные, и рога железные, и глаза железные. Мчусь я на железном олене по дороге железной. Одного хочу: чтобы думы мои не стали железными. Мчусь я на железном олене — не забыть бы мне звон копыт оленя с ветвистыми рогами! Коня не забыть бы мне».

Горька подчас правда автора «Языческой поэмы» об отношении иных его современников к природе, по принципу: после нас — хоть потоп. Постоянна его тревожная дума о сохранении извечного единства человека и природы. Но как бы порой трагично ни складывались отношения человека с природой во второй половине XX века, непоколебима вера поэта манси в разум человека, в то, что он в конце концов сумеет сохранить и приумножить богатства природы. «Земля моя, верю, что всегда в тайге будут стоять твои кедры могучие, не переведутся звери пушистые, не иссякнут реки рыбистые».

«Языческую поэму» венчают стихи о Сибири, звучащие подлинным гимном родине поэта — древнейшей земле манси:

Привет тебе, древнее слово!
Посланец забытых веков.
Ты, словно богатая лодка,
До наших дошла берегов...

Сибирь — берега раздвигая,
Рекою от каменных гор
Течешь, в языках разветвляясь,
Земной обнимая простор...

Сибирь — и зимою, и летом
Сияет народам в веках.
И греет она полпланеты,
А искры — во всех языках.

Мы можем по праву сказать, что Юван Шесталов открыл нам прежде всего в «Языческой поэме» много ярких, незабываемых страниц из истории земли сибирской, особенно его родной Юрги, а главное — показал красоту земли сибирской, преображенной Советской властью:

Сибирь... Это свет и будущее!
Это сияющая нельма, плывущая на нерест.
Это пестрый рябчик, висящий на сосне.
Буровая вышка с радужным фонтаном нефти.
Горящий факел газа во тьме полярной ночи.
Сибирь... Ты олень железный, мчащийся по дороге железной.
Ты корабль, улетающий в небо.
Сибирь... Новая моя сказка, которую я расскажу,
когда заря зажжется и на проснувшихся травах заблестит роса.

Образ земли сибирской в книгах Ювана Шесталова по праву достойно дополняет и обогащает живой, могучий эпический образ Сибири, созданный ранее, в 50—60-х годах, выдающимся поэтом современности Василием Федоровым в его поэмах «Золотая жила», «Проданная Венера», «Седьмое небо» и других. Примечательно, что именно Василий Федоров был одним из тех, кто первым горячо поддержал поэта манси в пору становления его таланта.

* * *

О чем бы ни писал в своих книгах Юван Шесталов, его, поэта маленького народа манси, всегда волнует судьба его большой Родины — Страны Советов. Вместе с тем, как мы чувствовали, он искренне обеспокоен и полон тревожных раздумий и мыслей о судьбах всего мира, всего человечества. Вот что дала ему Советская власть. Духом интернационализма и братской дружбы проникнуто все его творчество. Он за все в ответе:

Бубен мой старый, громко гуди,
Все человечество разбуди,
Совесть всесветную разбуди!

Тревога, боль людей, рабство людей, захватнические войны, кровавый фашизм — вот чем мир капитала «наградил» человечество, — все это для поэта манси не отвлеченные понятия, а глубоко личные и тревога и боль:

...Плещутся рыжие гривы огня,
Падают бомбы, и все на меня.
Дым над домами тучей клубится:
Боль исказила лица...
...Ночь без пощады.
                    Мрак без луны —
Страшный психоз войны.

Автор «Языческой поэмы» знает хорошо, что самое страшное зло, которое ныне угрожает нашей планете, ее красоте, ее народам, — это зло атомной войны, в пучину которой хотели бы империалисты — эти «дикари двадцатого столетия» — ввергнуть весь мир. Человечество должно и обязано встать наперекор силам войны, должно и обязано ни на минуту не забывать об угрозе миру:

Люди! Эй, люди!
Откройте глаза!
В яростном мире бушует гроза...
Чтоб струи напалма леса не сожгли,
Чтоб реки светло и прозрачно текли,
Чтоб дети повсюду спокойно росли,
Бдительны будьте, люди Земли!

В самые трагические дни человечества, когда черная ночь фашизма, казалось, на долгие годы опустилась над Европой, призывно прозвучал над миром страстный, взволнованный голос:

«Люди! Я любил вас. Будьте бдительны!»

То был голос великого антифашиста Юлиуса Фучика. Он прозвучал как предупреждение всем народам на будущее, как вера писателя-гуманиста в людей, в их совесть и разум; прозвучал в ту страшную пору, когда из-за недостаточной бдительности людей Земли десятки миллионов их, взрослых и детей, были обречены на гибель в фашистских лагерях смерти.

Более тридцати лет прошло с тех памятных исторических дней, когда советский солдат — освободитель Европы — водрузил над поверженной фашистской Германией Знамя Победы.

Более тридцати лет над древней мансийской землей — колыбелью поэзии Ювана Шесталова, над всей нашей великой, необъятной Советской Отчизной — чистое, светлое, мирное небо.

Пусть всегда это небо будет светлым и чистым, пусть всегда будет мир и духовное единение и братство людей труда, строящих светлое будущее человечества — коммунизм, — вот о чем больше всего мечтает советский народ, возводя новые города, новые заводы, новые школы и Дворцы культуры, плотины новых гидростанций, создавая новые стальные магистрали, новые рукотворные моря, осваивая космос и проникая в глубины вселенной, изучая тайны живой клетки и микромира, утверждая при всем этом новые, социалистические отношения между людьми, формируя нового человека, раскрывая новые дали, новые горизонты прекрасного в нашей социалистической действительности.

Вот о чем так солнечно, вдохновенно вместе со своим народом мечтает в своих книгах замечательный советский поэт-гуманист Юван Шесталов, отдающий всего себя, чудесный свой талант, весь пламень своей души и сердца любимой матери-Родине:

Шли века,
И я вставал опять.
Не из чрева горестных могил —
Новая меня рождала мать.
Беды ей и счастье я дарил...
И настал, настал великий век.
И сегодня снова я пою.
С солнцем в сердце,
С солнцем в голове
Манси песню слушают мою...
Я не птица — не скрываюсь
Ни от стужи, ни от зноя.
Я не солнце — я и ночью
Должен свет нести всем людям!
Пусть глаза мои пылают
Жарче северного солнца!
Эти песни легче птицы
И быстрей копыт оленьих
Пусть несутся! Эти песни
Возрожденного народа!

* * *

В нашем разговоре о творчестве Ювана Шесталова мы, как это нетрудно было заметить, основное внимание сосредоточили на «Языческой поэме». Сделано это нами отнюдь и далеко не случайно. Ибо все, что было написано поэтом ранее, до этой мудрейшей книги, — все это, по существу, явилось своего рода разведкой словом, добрыми творческими подступами, открывающими путь в бескрайние эпические дали «Языческой поэмы». Мы имеем в виду не только стихи и поэмы Ювана Шесталова («Таежная дума», «Песня последнего лебедя»), но и его романтическую прозу («Синий ветер каслания» и др.). И вполне закономерно, что ряд страниц шесталовской прозы с ее сочной, свежей, живой образностью входят столь естественно в стихотворную словесную вязь «Языческой поэмы», обогащая ее содержание и стилистику. Равно и наоборот, в ряде случаев куски прозы «Языческой поэмы» становятся как бы своеобразными завязями новых книг. Так, многие прозаические зерна той же «Языческой поэмы» прорастают в главы и ряд основных образов новой повести автора — «Когда качало меня солнце».

«Языческая поэма» — это не только лучшая книга Ювана Шесталова, которая воспринимается как подлинно эпическая вещь, а еще точнее, как эпос народа манси; «Языческая поэма» — это одно из выдающихся произведений нашей современной многонациональной литературы, одна из лучших современных поэм, книга богатейшей художественной индивидуальности и новаторской смелости, значительно расширяющая и обогащающая наше представление о жанровых границах и стилистическом своеобразии поэмы социалистического реализма, произведение в высшей степени народное и партийное.

К сожалению, пока еще критика не сказала своего исчерпывающего слова о «Языческой поэме», не дала этой книге, а также всему творчеству Ювана Шесталова как основоположнику литературы манси всесторонней объективной оценки.

Основоположник — всегда первооткрыватель и новатор. В творческом поиске, в его деяниях наиболее пол-

но находят свое выражение мысли, чаяния, мечты его народа.

Познать себя, свой день, современную действительность и вместе с тем свое прошлое, а главное — будущее, — вот что всегда неумолимо требует от основоположника его время. Перед ним всегда стоит многотрудная задача: создавая новые духовные ценности, хранить связь времен, не размыкать произвольно звенья исторической цепи. Более того, он обязан взять из прошлого все значительное и вечное, то, что наиболее созвучно современности, и перенести это из прошлого в настоящее.

Основоположник — всегда носитель передовых нравственных, гражданских идеалов своего времени; всегда разведчик и боец за светлое будущее. Ему близки, его кровно волнуют и судьба его соотечественников, и судьба всего человечества.

Все это, несомненно, имеет место в творчестве Ювана Шесталова. Ему посчастливилось уже в наши дни стать основоположником литературы древнего и вместе с тем сказочно-юного народа земли сибирской — народа манси.

КРЕМЕНЬ-СЛЕЗА

Слеза не просто, а всея Руси
Слеза-кремень!

Егор Исаев

Память человечества и человека. Память народная. Эта проблема всегда встает перед истинным художником, ибо он всегда мыслитель, всегда философ, мучительно и настойчиво ищущий ответа на вопрос, едва ли не самый главный для всех и каждого: в чем смысл жизни, смысл земного бытия человека? Художники всех времен и народов — от безымянного автора Библии до Гомера, от автора «Слова о полку Игореве» до великого Льва Толстого, от буревестника революции Максима Горького до пронзительного поэта Руси крестьянской Сергея Есенина — каждый по-своему пытались ответить на этот извечный «вопрос вопросов», который волновал на протяжении многих веков и волнует ныне самые светлые и беспокойные умы рода человеческого.

И каждый из них — будь то выдающийся поэт или прозаик, гениальный музыкант или живописец, — обращал свой пытливый взор в прошлое, в седую глубь веков, в даль памяти народной — в то, что составляет историю человечества; и вместе с тем каждый из них не менее пристально вглядывался в себя, в неизведанные глубины своей души, в окружающий его современный мир — в свое время; вглядывался неотступно и зорко в то самое родное и заветное, что сохранила с детских лет на всю жизнь его даль памяти:

Ко мне приходит облако,
С рождения
Оно мое.
Оно идет с полей
Не по течению ветра,
По велению
Души моей
И памяти моей,

Пока я жив —
Не сбить его с маршрута
Пока я жив —
Оно всегда со мной...

Так, сразу же, как бы распахивая окно в огромный, еще неведомый мир, в который каждый вступает с рожденья, с первого своего вздоха, с первых своих шагов по земле, — начинает Егор Исаев свою новую изумительную поэму «Даль памяти». Уже эти строки, звучащие словно крылатые аккорды могучей поэтической симфонии жизни, настраивают нас с ходу на серьезные раздумья, на встречу с чем-то значительным и очень важным для нас и, конечно же, для самого автора. Становится очевидным, что он, автор, далек от мысли лишь просто что-то проиллюстрировать нам своими стихами. Он раскрывает во всю глубину чувств, до дна души, дали своей памяти, равно как и дали неоглядные народной памяти, для того, и только для того, чтобы мы смогли за обыденной повседневностью и суетностью жизни разглядеть и почувствовать сердцем неповторимую даль своей памяти, увидеть в небе свое «облако»:

В нем дали все,
Как стропы парашюта,
Связуются
С единственной одной —
Той,
Изначальной далью,
Той,
Печальной
И радостной, как бубенец в груди...

Сумей только это ощутить душой, сумей вовремя открыть это для себя, сумей не растерять, а приумножить с годами эту красоту мира, красоту жизни в своей памяти, своей душе:

И мир открылся!
Мир!
И подземельный,
И надземельный
С множеством чудес —
С лохматым псом,
С бадейкой журавельной
И журавлиной музыкой с небес...
Так было с каждым. Да.

И будет с каждым
Во все мои дальнейшие века.

Поэма Егора Исаева — это поэма раздумий, поэма размышлений — неустанных, напряженных, глубинных по мысли, прекрасных по своей первозданной образности. В ней речь идет о самом главном, о самом насущном в жизни: судьбе человеческой — судьбе народной. Отсюда ее эпическое дыхание, под стать могучей шолоховской прозе. Вся поэма «Даль памяти» выстроена Егором Исаевым как один единый диалог, который неспешно, как бы обдумывая вслух каждое слово, взвешивая, выверяя в душе каждую фразу, ведет поэт и с самим собой, и со своими земляками, и со своим «видавшим виды» поколением, и со своей революционной эпохой, и вместе с тем с прошлым, с историей своей Родины, и, конечно же, с будущим, с коммунистической далью Страны Советов.

В наши дни некоторые поэты вместо того, чтобы «просто», по-исаевски, размышлять и задушевно собеседовать с читателями, пытаются, и весьма настойчиво, в своих стихах лишь «вещать» с «высоты» своего собственного «величия». Этакое ничем не оправданное самолюбование, а точнее, самовлюбленность в свой поэтический пуп, все еще встречается, и, к великому сожалению, не столь уж редко, среди наших современных стихотворцев. Между тем именно естественность, раскованность, разговорность стихотворной речи была и остается одной из примечательнейших черт истинной народности поэзии Пушкина и Некрасова, Маяковского и Есенина, Твардовского и Прокофьева. Стремление не «докладать», а с открытой душой и сердцем вести на равных разговор со своей аудиторией ныне характерно для тех поэтов, которые по-настоящему стремятся к народности стиха. Егор Исаев, несомненно, является одним из таких подлинно народных, демократичнейших поэтов современности.

В «Дали памяти» нет нигде легковесного стихотворного «ячества», от которого в иных риторически-шумных стихах ты не знаешь, куда бы тебе побыстрее податься. Есть другое: ясная, четкая, убежденная гражданская позиция автора, есть личность автора в каждой строке поэмы.

Эта личность проявляет себя наиболее полно и органично: и мировоззренчески, и художественно, и общечеловечески, в «ствольной», ключевой главе поэмы — «Кремень-слеза».

Кажется, что не поэт, а сам народ поведал нам в этой главе, неспешно и мудро, о своей судьбе: об извечной мечте мужика о земле, о борьбе с разинских и пугачевских времен, Руси крестьянской с царизмом, о горе и вдовьих слезах «и в ту войну, как турка воевали, и в ту войну, японскую, и в ту, германскую...»; и о том, как в дни великого октябрьского штурма «на белых шли. За землю шли, за волю, за нашу власть у верного руля...»; и еще о том радостном и светлом времени, когда хозяином земли стал тот, кто обрабатывал ее веками, кто веками поливал ее своим потом и кровью.

Земля везде: и сверху, на земле,
И под землей,
И над землей — она же,
Как день и ночь,
Как берег и волна,
Как хлеб и соль...
Не чья-нибудь, а наша
Земля-сторонка и земля-страна,
Просторная
И в сторону Сибири,
И в сторону кронштадтских маяков.
Родная вся!

А было как?
А было:
Народ великий
Испокон веков
Пахал ее,
Обстраивал, —
Не гостем
Жил на земле
И тут, и там, вдали.
А у народа, окромя погоста, —
Подумать больно! — не было земли.

Не столь уж часто в прошлом, даже среди классиков, с такой обнаженной сердечной болью, с такой гражданской совестливостью и скорбью и вместе с тем с такой силой художественного обобщения говорилось и писалось о горькой судьбе и бесправной доле народа, у ко-

торого и в самом деле на протяжении веков «окромя погоста... не было земли».

Бежит,
Бежит
Полночная дорога,
Как чья-то вековечная вдова.
Бежит,
Бежит
На чей-то зов далекий
В тревожной, переимчивой тиши
На самом том извечном перетоке
Земли и неба,
Мысли и души.
Бежит
От поворота к повороту —
В чужую ли, в родную сторону.
Поди узнай:
С войны ли ждет кого-то,
Кого-то провожает на войну?
Не на войну,
Так, стало быть, в остроги
Сибирские,
В рудничную грозу...

Уж не на той ли на крутой дороге
Нашли окаменевшую слезу?

Глубинный, родниковый образ «Кремень-слезы», столь счастливо рожденный смелым полетом фантазии талантливого художника, его удивительным историческим прозрением, его чуткой, бескомпромиссной совестью, образ, в высшей степени аллегорический и символический и вместе с тем до краев наполненный конкретной реальной действительностью, живыми, впечатляющими картинами прошлого и настоящего России, стал, несомненно, новаторским открытием поэта. Он, этот образ, дал не только точнейшее по мысли, афористически выразительное название «ударной» главе — «Кремень-слеза», не только определил движение ее сюжета, развитие характеров, он стал, бесспорно, «вершинным» во всей поэме:

И тут же,
Тут же,
У кремень-слезы,
Со дна холмов,

Как вздох,
Как стон глубокий,
Как долгий крик осенних журавлей,
Всплыла над степью,
Над степной дорогой
Дорога вечной памяти.
По ней...
По ней,
По ней,
Пока не отрыдала,
Пока не успокоилась гармонь,
Прошли такие
    каторжные
        дали,
Такой живой прокинулся огонь,
Что — бог ты мой! —
И вот как стало тесно,
И вот как чутко
В той степи глухой,
Что — веришь, нет —
В Москве,
На Красной Пресне,
Булыжник
    содрогнулся
        под ногой
От песни той,
От памяти,
От боли...
Не говоря уж про кремень-слезу.

Так властно и неодолимо вслед за днем сегодняшним, за «тягловой рекой» труда, за «индустрией на собственном ходу», живая история народа врывается в поэму Егора Исаева. «История в лицах, вот что такое для меня «Кремень-слеза», — неоднократно подчеркивал в беседах и сам автор.

С каждой новой строкой поэмы образ «Кремень-слезы» все рельефнее и полнее открывается нам художественно в своей сокровенной сути — это русский народ, сама Россия. Выразительно точно, убедительно и прекрасно сказано об этом в поэме: «Слеза не просто, а всея Руси слеза-кремень!»

Она во рту
    крошилась
        при ударе
И редко, чтоб катилась со щеки,

А все нутром,
Все горлом шла.
А то и,
Коль поглядеть
С острожной стороны,
Она, бывало, клочьями
Вдоль строя
Под палками
сползала
со спины
И стоном шла над матушкой-рекою,
И звоном шла под шашкой верховой
Туда — в Сибирь!

А было и такое:
Как с гор высоких,
Вместе с головой шаром катилась,
Обжигая веко,
Не к богу в рай, так под ноги царю,
Аж до́ крови огнянная от веку!
Эй, мужики!
Ну так ли говорю?

— Так, так, отец!
— А как еще иначе?
Такой уж мы напористый народ!..

«Напористый народ» — живой портрет которого встает перед нами во весь свой богатырский рост в поэме «Даль памяти», — это прямой, открытый, гордый, мужественный, если надо — терпеливый и выносливый, если надо — взрывчато-революционный и беспощадный к врагам Родины, всегда человечный и справедливый, — русский народ. Он — «напористый народ» России — главный герой Егора Исаева, он его радость, его боль, его тревога и печаль, его надежда и вера.

В главе «Кремень-слеза» с особой силой заявляют о себе такие определяющие черты личности, таланта Егора Исаева — мыслителя и художника, — как высочайшая трагедийность поэтического виденья мира и вместе с тем животворный исторический оптимизм поэта, братский интернациональный пафос и патриотический дух его стиха; постоянная, неразрывная сопряженность в его поэзии прошлого, истории Родины, с днями нашей жизни, с настоящим, ибо без этого не может открываться народу его светлое завтра. Все это позволяет Егору Исаеву сказать первично, предельно кратко и вырази-

тельно, внешне, как может показаться, очень свободно и просто, без особого эмоционального напряжения, в нескольких стихотворных строках о таких исторических событиях, таких прозрениях ума человеческого, которым счастливо предстояло в будущем круто изменить жизнь всей нашей планеты. Так, завершая всенародный разговор-раздумья о том, чья она слеза-кремень и, главное, куда ее, слезу, определить, кому ее передать? — один из героев поэмы — учитель, когда-то в молодые годы «труженик ликбеза», «рисковый, но толковый», известный во всей округе, которую он «исходил пешком» и который «словом корешковым... вникал во все. И славен был тем самым...», держит перед односельчанами такую речь:

А кстати, вот что, граждане...
А кстати.
Не из нее ли искру высекал
Великий тот?

Уж он-то знал, пожалуй,
По ходу мысли действуя своей,
Какие превеликие пожары
Больнее боли,
Соли солоней
Скопились в ней
До крайности предельной,
До согнетенной точки центровой.

А не из той ли искры,
Столь нетленной,
На красный день эпохи мировой
Зажглась она,
Звезда большого света,
В виду окольных и далеких стран.
Звезда добра
И мудрого совета,
Звезда родства
Рабочих и крестьян?

Голос учителя — это голос народа и, конечно же, проницательно-мудрый голос самого автора.

И еще: извечен и неисчерпаем в литературе образ дороги — дороги жизни — «дороги вечной памяти», — ибо извечна и неисчерпаема сама жизнь народа, его героическая история. Своей новой поэмой, и в первую очередь главой «Кремень-слеза», Егор Исаев еще раз весь-

ма определенно и значительно напоминает эту незыблемую истину.

Именно в главе «Кремень-слеза» наше воображение захватывает в полон и покоряет напрочь наши сердца торжественный, героически-скорбный, как реквием, образ «дороги вечной памяти»: дороги крепостнической неволи и «рабства дикого», дороги крестьянских бунтарей и народных заступников; дороги великого революционного похода трудовой России в будущее, бескрайние горизонты которого столь зримо открываются нам в поэме Егора Исаева. Его «Дорога вечной памяти» невольно заставляет нас вспомнить знаменитую дорогу радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву». На той, радищевской, дороге уже были отчетливо видны кровавые следы «Кремень-слезы».

А «столбовая дорога» России, на которой когда-то сошлись «случайно» и «заспорили» семь временнообязанных некрасовских мужиков и которые пошли по этой необъятно бескрайней дороге народной жизни «пытать» всех и каждого, повстречавшегося им на этой дороге, об одном, самом главном и сокровенном: «Кому на Руси жить хорошо?».

Иные времена рождали и иной образ дороги. В дни Октябрьской революции «по военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой восемнадцатый год»; именно в ту грозовую эпоху вышел на «главную улицу» — главную дорогу жизни — «новый хозяин» — трудовая Россия. Потом на российских дорогах, большаках и проселках мечтал о своем счастье — «Стране Муравии» — сын крестьянской Руси — Никита Моргунок. И он обрел его — обрел его на дорогах новой колхозной России.

В незабываемом 1941 году на мирные, озаренные социалистической новью дороги Советской России вероломно обрушились с Запада черные силы фашизма. И на дорогах войны, измотав и обескровив врага в боях под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, начала героическая Советская Армия свой бессмертный поход освобождения Европы от немецко-фашистских варваров.

Кончилась война: и мирная, трудовая жизнь зашагала по дорогам Страны Советов; и устремились люди по этим дорогам, старым и новым, «За далью — даль»: и на целину, и в бескрайние звездные дали космоса, и на

новостройки Сибири, и в глубины земли, к ее рудным богатствам.

А что дорога?
Ясно, что дорога.
Она —
Что руль, что вожжи под рукой,
Везет свое — навалят не навалят, —
Торопит неотложную версту.
Она и ночью до свету дневалит
У памяти великой на посту.

Образ этой вечной дороги жизни заглавный, определяющий и историческую масштабность, и эмоциональный настрой, и разговорно-повествовательную интонацию всей поэмы, в главе «Кремень-слеза» развертывается наиболее полно во всей своей первозданной чистоте людских отношений и правде человеческой, во всей своей социально-философской и исторической сути.

Глава «Кремень-слеза», как и вся поэма «Даль памяти», прочно опирается на традиции народной жизни, равно как и на традиции отечественной истории, традиции классической и современной литературы. Она кровно связана с этими традициями всей своей могучей корневой поэтической системой. Вместе с тем ее вечнозеленая стихотворная крона вся новаторски самобытна, вся обращена к современности, вся нацелена на будущее.

Помню хорошо то неизгладимое впечатление, которое довелось счастливо пережить, когда я впервые услышал «Кремень-слезу». Ее читал автор. И как читал! Казалось, что все, что только довелось прослушать, — все сложено в эти счастливые минуты, что здесь на твоих глазах рождается великое таинство поэзии.

Мне доводилось и ранее слушать Егора Исаева, выступать вместе с ним на литературных вечерах. И должен честно признаться, никого не обижая, не было на этих вечерах равного Егору Исаеву. Он начисто покорял и аудиторию, и нас — его сотоварищей, непревзойденным чтением своих стихов, в высшей степени эмоционально-естественным, органичным и правдивым, лишенным какой-либо фальши, досадного актерского наигрыша, авторского самолюбования. Доводилось мне слышать и читать ранее и те главы «Дали памяти», которые были написаны и опубликованы до «Кремень-сле-

зы». Но в тот вечер, когда Егор Исаев прочитал впервые всю свою «Кремень-слезу», я, слушая его, подумал, что на этот раз он, пожалуй, превзошел самого себя. Мы были с ним вдвоем. Кончив чтение, Егор Исаев с присущей для него одержимой увлеченностью стал рассказывать о новых главах «Дали памяти», над которыми он трудился в ту пору. Перед нами на столе ароматно дымился заваренный по-домашнему крепкий горячий чай.

— Расскажи кому-либо из наших друзей, что мы с тобой вот так уже третий час беседуем, читаем стихи и пьем только чай, пожалуй, и не поверят, — заметил как бы между прочим Егор Исаев, взглянув на меня при этом со своей озорной лукавой улыбкой.

«И правда, не поверят!» — подумал я. А он, немного помолчав от этого, казалось бы, частного и, конечно же, сугубо личного момента, неожиданно перевел наш разговор совершенно в иную плоскость, «запроблемив» его при этом по самому большому счету:

— Мы ведь почти совсем утратили наш замечательный русский добрый обычай посидеть повечерять с близкими, в домашнем кругу за чашечкой чая. В наше время, если к тебе в дом пришли друзья-товарищи, то уж, будь добр, обязательно ставь на стол что-нибудь покрепче чая. А иначе — кровная обида.

В этих откровенных размышлениях, в этих озабоченно-справедливых словах — весь Егор Исаев. Только такой поэт, для которого все важно, все значительно, все непреходяще-интересно и дорого в жизни, истории, традициях, быте, обычаях его народа, и мог создать «Кремень-слезу». Он вложил в нее свои самые светлые, самые радужные, самые смелые, самые честные и справедливые, самые выстраданные и сокровенные думы, мысли, чувства. Он трудился над «Кремень-слезой» более года, а шел к ней долго, очень долго — всю свою сознательную жизнь. По существу, «Кремень-слеза» — это не глава, а самостоятельная поэма.

Все это, вместе взятое, делает «Кремень-слезу» удивительно близкой, родной, личной для всех и каждого. Когда я впервые услышал эту главу от автора, а потом читал ее в «Литературной газете», то невольно пережил незабываемые минуты. Казалось, прошлое твоей Родины, Россия «убогая» и «обильная», «забитая» и «все-

сильная» приблизилась к тебе незримо, более того, она как бы вся вошла в тебя, в твою душу, в твою плоть, а ты в нее, в ее бескрайние дали вечной памяти, она, Россия, еще больше стала твоей радостью и болью, твоей историей, твоим личным прошлым, твоей жизнью, казалось, что это именно ты, с тревогой вглядываясь в седую даль веков, скорбишь о трагическом прошлом твоей Родины:

Ведь как мы жали!
Сердце каменело,
А ей-то как — слезе! —
не каменеть!

Такие стихи переворачивали душу, к горлу подкатывался ком и помимо воли со щеки спадала горькая, мужская слеза, спадала все туда же — в бессмертную кремень-слезу, слезу людского горя и печали, слезу добра и света.

В такие часы духовного подъема и нравственного озарения, рожденного в твоей душе, твоем сердце «Кремень-слезой», перед тобой во всю даль открывалась «дорога вечной памяти» твоих отцов. Она как бы становилась дорогой твоей жизни. И ты начинал все сильнее ощущать свою кровную сопричастность ко всему тому, что выстрадала в прошлом и свершила в настоящем твоя Родина — Россия, прокладывая всему человечеству путь к свободе.

Вряд ли надо подробно говорить и доказывать, сколь дорого и свято для всех нас сегодня нравственное, духовное богатство «Кремень-слезы», ее революционно-патриотический пафос; особенно для утверждения в сердцах юного поколения чувства законной национальной гордости великим революционным прошлым своей Родины.

С каждым годом все труднее писать об Октябрьской революции «первично», создавать такие стихи и поэмы, которые можно было бы без какой-либо снисходительной натяжки поставить рядом с выдающимися художественными произведениями нашей советской классики. Время неумолимо отодвигает от нас все дальше и дальше Октябрь 1917 года; сегодня — это наша героическая история. Каждого из современных писателей, ныне обра-

щающихся к эпохе Октябрьской революции, реально подстерегает опасность повторения пройденного, открытого художественно в этой теме до него другими. Каждому также при этом угрожает опасность «снизиться до простого политического пересказа», риторической иллюстративности, литературного штампа, отраженного света, а главное — «вторичности» в показе революционных событий. Особенно опасной при этом становится поэтическая инфляция языка революции. Вспомним, что еще в 20-е годы Владимир Маяковский не без основания, с неподдельной и нескрываемой тревогой писал и говорил о том, что «слова у нас, до важного самого, в привычку входят, ветшают, как платье». Поэт революции мечтал «сиять заставить заново величественнейшее слово — партия». Свою дерзкую мечту он новаторски осуществил в поэме «Владимир Ильич Ленин». Будем откровенны, в наше время куда значительно чаще, чем в дни Маяковского, мы становимся очевидцами и с болью в сердце наблюдаем, как от многократного повторения, от употребления к месту и не к месту, порой необдуманно-случайно, а порой из чисто конъюнктурных расчетов автора: лишь побыстрее «откликнуться» к «знаменательной» дате — «ветшают» эмоционально, утрачивают свой сокровенный революционный смысл, свое действительно великое историческое значение и звучание — такие «самые важные», самые святые для каждого слова, как «Родина», «Россия», «Октябрь», «Советы», «Коммуна»...

Тем радостнее и значительнее для современной многонациональной литературы, для нашей духовной жизни, что в «Кремень-слезе», как и во всей поэме «Даль памяти» — все «первично», что это подлинно новаторское, высокохудожественное произведение о нашей революции, нашем сегодня и завтра, наполненное глубочайшей правдой — правдой истории, правдой жизни, правдой поэзии.

Написанная ярким, самобытным, живым народным языком, передающим неповторимо дух революционной эпохи, поэма «Даль памяти», и прежде всего ее глава «Кремень-слеза», встает ныне по праву на равных в тот выверенный временем, историей достойный ряд классических революционных вещей, таких, как «Двенадцать»

Блока, «Главная улица» Бедного, «Песнь о великом походе» и «Анна Снегина» Есенина, «Ленин» и «Хорошо!» Маяковского. В год 60-летия Великого Октября это особенно знаменательно и дорого.

* * *

Егор Исаев — поэт-философ, глубокий, мудрый, истинно народный. Когда читаешь его «Даль памяти», то все больше и больше кажется, что это народ, да, да, именно народ, взыскательно и пристально вглядываясь в сегодняшний день из глубин своего прошлого, все выверяет и «взвешивает» в революционном развитии своей истории, своей жизни, на самых точных и объективнейших весах — весах истории человечества.

Диалектическое виденье жизни, материалистический взгляд поэта на мир лишены каких-либо, пусть даже незначительно-второстепенных, отвлеченно-умозрительных, субъективистских догм и канонов. На мир, в котором поэт живет и творит и который его окружает «с рожденья», он смотрит столь смело и открыто, столь просветленно и одухотворенно, что мы по воссозданным им картинам действительности, казалось бы, знакомым нам во всех своих измерениях и направлениях, открываем такие неведомые ранее пласты народной жизни, исторического прошлого и будущего, что нам, как говорится, только и остается, что развести от удивления руками и подумать оторопело: куда же, в конце концов, смотрели наши глаза, как же мы этого не заметили сами!

Чего, к примеру, стоит одна дума поэта, одна удивительно многоступенчатая, все время образно развивающаяся в поэме «Даль памяти» мысль о земле. Мы привыкли к тому, что земля для нас — это и поле, и лес, и река, это наш дом, наша дорога, наши города и села, наши стальные пути и магистрали, наши озера, моря, океаны... Да! Все это так. Но для Егора Исаева земля — это еще и колоссальный «поземельный» и бескрайний «надземельный» мир. Для него пахарь и тот, кто испокон веков пашет землю, сеет хлеб, и тот, кто «пашет» ее рудничное поле, кто прокладывает борозды-штольни в угольных пластах, и тот, кто дает выход из земли кровеносным нефтяным артериям. Вот почему

исаевский образ земли и глубоко традиционен, и вместе с тем глубоко новаторский. Он смел и необычен по сравнению с теми обычными представлениями, которые до этого сложились и прочно утвердились в нашем сознании. Да! Говорит нам поэт: земля — это и поле, и лес, и степь, но земля — это и голубой небесный шатер над этим полем, лесом, степью; это — и богатство ее недр, которые она, земля, веками хранит под этим полем, этим лесом, этой степью. И еще, самое главное: земля — это не только природа, это и весь живой мир во главе с самым дивным и совершенным творением земли — человеком. Он неотделим от земли, более того, он ее кровный сын. Он приходит в мир из земли, на какое-то мгновенье (по сравнению с вечностью) его жизнь на земле вспыхивает словно яркая звезда, а затем медленно затухает и гаснет... и вновь земля принимает человека в свое лоно.

Образ земли у Егора Исаева в его поэме «Даль памяти» живет, развивается, движется не только в пространстве, но и во времени. Одна за другой встают перед нашим взором волнующие, предельно реальные картины и прошлого, и настоящего, и будущего земли.

«Я зрю через целое столетие», — утверждал когда-то с гордостью революционер духа и мысли Радищев. Мысль истинного художника всегда опережает его время, его эпоху. Так было и при Радищеве, и при Пушкине, и при Некрасове, и при Блоке, и при Маяковском и Есенине. Егор Исаев в своей поэме «Даль памяти», наследуя и развивая эти великие традиции, также опережает свое время. Не только наш день, а прежде всего наше будущее, более того, будущее всего человечества — вот что особенно волнует поэта.

Всей поэмой он утверждает, что дорога, путь человечества, в будущее — это та дорога, тот путь, по которому идет ныне вперед смело и окрыленно его Родина, это великая ленинская дорога интернационального братства и всенародного труда:

Да будет впредь
Земля с землей родниться
Да будет серп и молот на века,
Как верный знак того,

Что будет литься
От сердца к сердцу
Главная река —
Река труда!

Всему, что есть на свете,
Она и ход
И взлет она дает —
Растит хлеба,
Раскидывает сети,
И руды
Из-под спуда достает,
Идет-гудет
Над радугой-рекою
Поверх морей,
Дождей поверх
И гроз...

Воссозданный Егором Исаевым образ земли — космически-глобальный и вместе с тем такой конкретно-реальный, близкий и родной нам до каждого лесного корешка, каждой придорожной травинки — это счастливое и принципиальное художественное открытие автора. И что особенно примечательно и важно: *образ земли у Егора Исаева предельно современен и наполнен огромным философско-мировоззренческим содержанием* (курсив мой. — *Ю. П.*).

Поэма «Даль памяти» пробуждает в нас чувство неподдельной тревоги и озабоченности за будущее Земли — нашего общего дома, за судьбу всего человечества, за нравственный, моральный климат на нашей планете и сегодня и особенно завтра — в будущем.

Егор Исаев заставляет нас как бы само собой, исподволь и неотвратимо почувствовать и умом и сердцем всю глубину и меру ответственности каждого за судьбу молодого поколения, которое уже сегодня вступает в жизнь. От того, как это поколение будет воспитано нравственно, морально, что оно будет исповедовать, что — утверждать и отстаивать, что любить и ненавидеть, — от всего этого во многом, если не в главном, будет зависеть судьба будущего мира. Весь опыт прошлого, вся дальняя и близкая история рода человеческого весьма и весьма убедительно и неотвратимо свидетельствуют об этом. Достаточно вспомнить лишь недавний трагический урок фашизма. Гитлер и его сподручные

сумели за каких-нибудь десять-пятнадцать лет оболванить сознание и отравить трупным ядом нацизма души миллионов молодых немцев. Как дорого пришлось заплатить за все это народам всего мира и особенно нашей Родины! Вот почему Егор Исаев — солдат-фронтовик, прошагавший по дорогам войны до Берлина, думая о будущем, с такой внутренней гражданской озабоченностью, так прицельно указывает на то главное направление, на ту главную «высоту», где и сегодня в мирных условиях — все сильнее развертывается идейная битва за молодые сердца, за то, чтобы эти сердца были верны «дороге вечной памяти» отцов:

Из всех вершин духовного обзора
Я б школу выбрал.
Там, я вам скажу,
Уже теперь
С азов
По первочувству
Иная даль вступает в свой черед.

Так пусть же,
Пусть же
От верхов до устья
Не убывает памятью народ!

* * *

Поэма Егора Исаева — это художественная энциклопедия народной жизни: эпос нашей революционной истории, нашего времени. Она создана писателем, который, наследуя все лучшее, смог сказать «во весь голос» свое слово о своем времени и о себе. Мы можем по праву отнести к «Дали памяти» слова Владимира Маяковского: «Это — время гудит телеграфной струной; это — сердце с правдой вдвоем. Это было — с бойцами или страной, или в сердце было моем».

«Даль памяти» захватывает воображение своей эпической масштабностью, эпическим размахом событий, о которых в ней идет речь, и, конечно же, эпическим виденьем поэта. До Егора Исаева такой поэмы не было в нашей многонациональной литературе. Она неповторима, как неповторима сама жизнь.

Даже когда Егор Исаев обращается к показу, каза-

лось бы, исключительно традиционных картин народной жизни, как, например, к деревенской страде на покосе, то и тогда он избегает повторения пройденного, того, с чем до него с таким проникновением в поэзию крестьянского труда, с такой окрыляющей душу радостью и с таким трепетным личным переживанием поведали в свое время Тургенев и Толстой, Никитин и Кольцов, Некрасов и Есенин, Твардовский и Исаковский. В изображении покосной страды у Егора Исаева все свое, все — современно. Традиции у него — внутри стиха, а не на поверхности. Он очень расчетливо опирается на то, что было до него «добыто» другими из артезианских глубин народного слова. Но главным для него при этом остается поиск своего золотого слова: «добыча» своего поэтического грамм-радия. Весьма примечательна и характерна в этом отношении одна из самых радужных и солнечных глав поэмы — глава «Посвящение в мужики»:

И грянет праздник!
Радостную душу
Ты не жалей,
А телом пропотей!

Их было — помнишь? — тридцать девять
Дюжих
В рубахах белых
Ладных лебедей.
Зарю на грудь!
И — звончато и нежно —
Ходи,
Ходи,
Оглаженная сталь!

. . . .

Всех впереди Степан Рудяк —
По праву
Известного в округе силача

Просторно шел.
Нисколько не стесняя
Широких плеч,
Под корень брал,
Под нуль.
Откинешь чуб и ахнешь:
Мать честная,
Прошел покос, как ворот
распахнул!

Под стать Степану Рудяку и «мастак по части сена» — Назар Шабров, да и все другие односельчане Рудняка, которые вышли на покос дружной артельной семьей:

И вот они
Пошли,
Как под метелку,
Под синий звон зеленые моря!
Пошли,
Пошли...
От выдоха до вдоха —
Волна к волне.
Душа не дорога.

Вершись, стога!

Для всех «тридцати девяти» ладных исаевских мужиков покос — это и обыкновенный крестьянский труд, и вместе с тем — необыкновенный. Это светлый, радостный праздник их души, преданной земле. Здесь, на покосе, они могут развернуться во всю свою богатырскую трудовую стать и силу, показать свою удаль и ловкость, свое умение и мастерство земледельца. Что же касается самого молодого исаевского героя — «лебеденыша», который «шел сороковым», то для него — крестьянского подростка — первый выход на покос наравне со старшими — это памятнейший день, испытание юного характера на трудовую и гражданскую зрелость:

И будет день,
как бой!
И будет боль
В руках и пояснице,
И будут ноги тяжелей свинца...
Казалось — все:
Ни шага, ни полшага,
Ложись, милок,
И закрывай глаза.

И было б так,
И было б так,
Да благо
Была коса...
Огонь была коса.
Сама и жгла,
Сама и подбивала,
Сама вела тяжелое плечо.
Видать, не зря — стальная —

Побывала
В руках отца до петухов еще...
Не будь ее, косы такой,
Пожалуй,
Ты б не прошел в то лето в мужики...
А ты прошел. Да как еще —
Осилил!
И сразу — помнишь? —
Тридцать девять,
Все:
— Муж-ж-жик!
— Муж-ж-жик!.. —
Раздольно возгласили
Хвалу тебе и звончатой косе.

Все волнует в исаевской картине покоса, выписанной такими сочными, впечатляющими красками. Так и стоят перед глазами «тридцать девять» «белых ладных лебедей» — косцов, плывущих неспешно и величаво по бескрайнему степному зеленому морю. Какой, действительно, прекрасный и неповторимый образ! Вот оно — чудо поэзии. А само название главы — «Посвящение в мужики»! В нем заключен глубокий смысл. Оно открыто-полемично. Литература разных веков рассказала много поучительного о разных посвящениях: и в рыцари, и в бароны, и в князья, и в монахи, и в дипломаты, и в ученые, и в дворянство, и в чиновничество, и в военное, и в купеческое сословия. Литература не знала, а вернее не признавала, в прошлом лишь одного посвящения — посвящения в мужики, в то великое братство людей труда, которое веками поило, кормило, одевало весь род человеческий. Для Егора Исаева, советского поэта, звание мужика — одно из самых почетных и главных на земле! Отсюда, от этой глубоко народной, партийной позиции автора и идет название главы «Посвящение в мужики».

Труд, как вдохновение, как высочайшее мастерство, как первейшая нравственная потребность и как наиглавнейшая святая обязанность человека перед обществом, — таков пафос главы «Посвящение в мужики» и всей поэмы. Она вся звучит как гимн труду народному — труду и рабочего и крестьянина. Это следует подчеркнуть особо. Ведь и сегодня не улеглись, не затихли еще окончательно донкихотские голоса иных крити-

ков, «воюющих» в своих статьях с писателями-«деревенщиками». Тех критиков, которые пытаются, и весьма настырно, противопоставить «деревенщиков» «городским» писателям и которые, по существу, до смешного узко и примитивно смотрят на действительность, на народную жизнь. Критические шоры застят им глаза. Они не видят, не чувствуют той глубинной диалектической связи, которая ныне особенно очевидна между крестьянством и рабочим классом; не замечают они упорно и тех нравственных, моральных, социальных корней, которыми город, рабочий класс и сегодня связаны со своим не столь уже отдаленным прошлым — землей крестьянской. Им словно неведома та истина, что «река труда» свое извечное, историческое начало берет в борозде сеятеля; что деды и прадеды тех рабочих, которые ныне живут в наших социалистических городах, трудятся на заводах и фабриках, из века в век пахали землю, пасли скот, добывали хлеб. В «Дали памяти» все это исторически точно и образно передано поэтом:

А корень где?
Откуда
Его могучесть, кряжистость его?

А все оттуда, друг мой,
Все оттуда,
Все от Микулы — пахаря того.
Все от него, земного,
Не от бога:
Сгибайся в три погибели —
Паши!
Костьми ложись,
А звонкую дорогу
Достань из-под земли
И —
Положи,
Раскинь ее, по зернышку стыкая,
Поверх могил работных мужиков
На тыщи верст...

Так вот она какая,
Та борозда,
Что испокон веков
Шла по земле за пахарем-кормильцем.
И за рудничным пахарем —
Туда,
Где глубоко-глубоко

Коренится
Под родниковым холодом
Руда...

Егор Исаев не размыкает, не противопоставляет деревню — городу, крестьянство — рабочему классу. Он высвечивает перед нами исторические дали, исторические связи того великого союза Серпа и Молота, который утвердил в нашей стране Октябрь семнадцатого года. Не скрывает автор при этом и своего явно полемического настроя по адресу тех критиков — «интеллектуалов», которые так односторонне-тенденциозно рассуждают о писателях-«деревенщиках». «Оно, конечно, — слава паровозам, но разве с них дорога началась?» — замечает он иронически. А сколько раз, особенно за последнее десятилетие, мы сталкивались и с другой крайностью, когда некоторые, не в меру «горячие» критические головы пытались видеть главную «беду» в том, что город якобы все больше «убивает» деревню. При этом они внеисторически, внеклассово, внесоциально хотели видеть в деревне, и только лишь в одной деревне, истоки всех нравственных, духовных начал народной жизни. Сегодня особенно очевидна вся надуманность и фальшь подобных, пусть даже субъективно и очень взволнованно-искренних, взглядов на мир, на общественный порядок современной жизни.

Егор Исаев всей душей предан русскому крестьянству, его прошлой боли, его светлой радости наших дней, но он нигде никогда даже каким-либо туманным намеком не пытается противопоставить деревню городу. Его поэма наполнена глубоким историческим прозрением. Она ярко выражает ту объективную истину, что город с деревней и деревня с городом с первых дней Октябрьской революции едины в своих главных, жизненно-общественных интересах. Союз рабочих и крестьян — это не только символ, это и сама суть Советской власти. И поэт находит весомые слова, чтобы сказать достойно и об этом нерасторжимом союзе, и о том, кто в этом союзе ведущий, заглавный:

И вот она грохочет —
Сталь по стали, —
Индустрия на собственном ходу.

Иду-у!.. Иду-у!.. —
Раскатисто и ходко
По магистральным
шпарит
колеям!..
Эх, кабы вся Россия посередке,
А то ведь вон какая по краям!
Она и там, у моря-океана.
Она и тут,
Где пашут,
Сеют,
Жнут,
Где гнезд пока
Не вьют аэропланы
И корабли к плетням не пристают.

А жизнь идет!
Не так, чтоб шибко очень, —
Пешком набольше.
Редко, чтоб в седле.
Здесь хлеб растят
И знают, между прочим,
Не вся земля, — что сверху, на земле,
А под землей —
Под этой вот, равнинной,
И под нагорной той,
Под верховой...

Рабочий класс — он ствольный класс,
Вершинный,
А раз вершинный, —
Значит, корневой,
Глубинный класс!

«Река труда», озаренная серпом и молотом, в сознании поэта едина и нерасторжима, ибо она едина и нерасторжима в самой действительности, она-то и составляет и определяет сердцевину народной жизни, она — движущая сила революционного обновления мира. Каждой строкой поэмы Егор Исаев словно хочет сказать нам: посмотрите, как велика, как всесильна главная река жизни — река труда — рукотворная река человечества. Ее неодолимая сила и мощь связаны прежде всего с могучей революционной энергией рабочего класса: того класса, который и определяет ее глубинное течение.

Отметим еще один, очень существенный и примечательнейший момент. Образная новизна и эмоциональ-

ная напряженность слова Егора Исаева столь высоки; воссозданные им картины народной трудовой страды, осененной революционным знаменем Октября, столь впечатляюще зримы, что сама поэма «Даль памяти» воспринимается нами не только и не столько как явление литературы, но и как явление самой действительности, как та река народной жизни, река труда, крутые берега и дальние дали которой открыл нашему взору чудодейственный талант автора.

* * *

Труд — один из главных героев Егора Исаева. Образное решение темы труда — ахиллесовой пяты многих наших стихотворцев — в «Дали памяти» на редкость самобытно и в высшей степени народно. У Егора Исаева оно почти всегда имеет свою глубинную мысль, свою сверхзадачу. Чтобы еще раз убедиться в этом, обратимся к одному из ключевых эпизодов поэмы: рассказу автора о «красавцах иноходцах», за которыми остается лишь один след — «пустые километры» да «степь в растяжку», — и о нелегкой судьбе не «скакового, а тяглового коня»:

За ним,
За тягловым,
Не просто так, в растяжку, —
Навалом степь,
Не сгорбится пока,
В снопах,
В мешках,
А сверх того — фуражка,
А под фуражкой — думы мужика.

За ним — возы.
За ним — крутые дали.
Возы,
Возы...
Не счесть его возов.

И — никаких — представь себе —
Медалей,
И никаких — представь себе —
Призов.
. . . .
Возы,
Возы...

Вези, уж коль ты лошадь,
Всю жизнь — вези!
А жизнь, она — гора.
Когда там все фундаменты заложат!
Когда там заведутся трактора, —
Возы,
Возы...

Эти стихи, конечно же, прежде всего — о человеке, его возах жизни, подчас таких неимоверно тяжелых и многотрудных! Сколько в этих стихах истинной мудрости, откровения души, сколько горькой житейской правды и в то же время сколько сдержанной радости и гордости за судьбу русского человека, который на протяжении веков своим трудом обстраивал и украшал родную землю. Не отрываясь от этой земли, не идеализируя, не приукрашивая труд, а, наоборот, сурово и правдиво показывая всю реальность, всю напряженность труда и пахаря и шахтера, а точнее — всего народа, Егор Исаев раскрывает едва уловимую в нашей повседневной суетности и потому почти не различимую на первый взгляд неброскую романтику «будничного» трудового подвига народа. Он показывает нам, читателям, всю нравственную красоту этого подвига, особенно выразительно передавая ту одухотворенность и радость жизни, которые человек обретает лишь в освобожденном труде.

Здесь уместно вспомнить, что еще в середине тридцатых годов Максим Горький с особой убежденностью подчеркивал, что писатели Страны Советов призваны показать труд как творчество, как высшее духовное, созидательное начало социалистического бытия народа. В те годы сама жизнь настоятельно выдвигала перед литературой эту проблему. Однако, как показало время, практическое, конкретное решение этой насущной задачи оказалось делом наитруднейшим. Сколько видимых и невидимых «кочек» вставало перед художником на пути к новому герою, о которые, раз споткнувшись, можно было зашибиться до смерти! И — зашибались! И, к сожалению, не однажды!

И все же, несмотря на все эти объективные и субъективные трудности, наша литература не успокаивалась на достигнутом. Она постоянно, настойчиво дерзала, идя

упорно к своей главной цели: созданию подлинно народного характера человека труда — героя нашего времени.

Именно с такими художественными образами, правдивыми, как сама жизнь, мы встречаемся в «Дали памяти» — поэме ярких народных характеров. Со страниц поэмы перед нашим взором встает живой, полнокровный образ человека труда. Раскрывается он автором во всей красоте содеянного им на благо людей, во всей нравственной окрыленности его отзывчивой души, его сыновней преданности земле, светлой веры его в будущее Родины.

Поэма «Даль памяти» густо «заселена» зримыми, скульптурными характерами. Все эти в своей сути народные характеры даны в развитии, в действии, в становлении и борьбе — каждый со своей неповторимой судьбой. Из них слагается образ народа, а точнее — живой портрет народа. Вспомним исаевских мужиков на покосе, во главе со Степаном Рудяком, напористо вышагивающих в густой, упругой зелени душистых луговых трав, каждый из которых, подобно Назару Шаброву, «косил, как пел». «Покос, — подчеркивает Егор Исаев, — мои мужики на покосе — это портрет народа. А Рудяк у меня образ главный. Я его дальше разворачиваю крупно». Под стать «дюжим», «ладным» косцам и озорные, веселые бабы, что после покоса «сено ворошили», с их шумными «толками-перетолками» о последних деревенских новостях, среди них первая красавица на селе Тонька — свет Антонина Семеновна, которую «никакой не приструнить струной» и которая несла себя на людях гордо, «как царица». Это она — Тонька — однажды, защищая юную любовь, «восстала вдруг! Да так тряхнула челкой, да так пошла в туманах-облаках, что просияли бабы, как девчонки, и парни колыхнулись в мужиках».

Даже когда у того или иного персонажа поэмы нет собственного имени, он все равно глубоко индивидуален и неповторим — этот безымянный герой. Таков, к примеру, исаевский дед в главе «Кремень-слеза»:

А был он хитрый дед,
Уклонных лет,

А нет ему износу.
Такой он, значит, непоклонный был.

Всего два слова: «уклонных» (лет) и «непоклонный» (был), а все главное о личности, о характере героя — сказано!

Умение Егора Исаева в каждом своем герое «схватить» определяющие черты и выразить их словом с предельной лаконичностью и образной точностью просто изумительно. Порой кажется, что оно не имеет предела, что поэт все может. Сколько в «Дали памяти» таких безымянных героев, как «непоклонный» дед, которые западают в твою душу и сердце. Среди них: и отец молодого героя — «лебеденыша», отменный косарь, «философ, между прочим», который, если надо, как это было когда-то в боях с Колчаком, умел «косить», «и пулеметом, и сабелькой на полном на скаку»; и тракторист, чей трактор «по тягловому делу» «сродственник коню», «железный весь, а вроде, как живой», «по-деревенски ладится к земле»; и колхозный кузнец, чья кузня «не просто кузня, а монетный двор»; и бедовый шофер, который на своей трехтонке штурмует проселочные «расхлябанные хляби», и его товарищи, которые на своих машинах «мотают вот — с поклажей, без поклажи — на все колеса, из конца в конец...», и пастухи, и трактористы, которые «втроем ли, вшестером — сидят в ночи и во поле во чистом не говорят — беседуют с костром»; и бойкая «молодка у калитки» из далекого приграничного степного села, которая после трудового дня в поле или на ферме, в минуты короткого отдыха, «войдет в избу и там, одна в избе, прикинет шаль московскую к улыбке и в зеркале понравится себе»; и деревенский малец-мальчишка, которому однажды в шутку, а может, и всерьез, его отец — «большой такой, нестрогий» — шепнет: «А хочешь, покажу Москву?..» — И за уши тихонько, за кончики, потянет из порток: — Расти, сынок! Тянись ушам вдогонку. А если что, ты покряхти чуток»; и деревенский мудрец-правдолюб — «ходок из ходоков», который, за свою долгую жизнь сумел побывать и в Москве и который с такой уважительной степенностью, «все края, ни в чем не понижая», говорит о столице, что восемь веков «стоит в кругу державных всех забот».

Подобно писателям-классикам, Егор Исаев блистательно владеет чувством слова и исключительной способностью наделять каждого своим языком. Он, этот язык, выразительно-образно передает главные черты их характера. Он лично индивидуален и вместе с тем общенароден и в высшей степени национален. Это касается и тех персонажей, тех героев, которые вошли в поэму из дали своего прошлого и держат в ней живую связь времен. Все они отнюдь не ходячие схемы и знаки истории, а плотски-живые, реальные характеры, включая созданного землей, а не богом, богатыря-пахаря Микулу, который столь естественно шагнул в поэму из древней былинной дали. Вместе с Микулой из истории, из революционного прошлого России пришли в поэму многие ее персонажи — характеры резкие, впечатляющие; все они, как сама мудрость, опыт жизни народа, как совесть народа.

Это и крестьяне, которые «еще тогда, при Разине Степане, при Пугачеве точили топоры» и которые «не дюже плакали-сбивали Кремень-слезой все той же кандалы и шли в бега»; это и «одна старушка», чей скорбный, горький рассказ о прошлом, о беспросветной женской доле и «барской милости», о «горючь-слезе» и вдовьей, и девичьей, волнует с особой силой; это и «флотские ребята, определенно с красной стороны», которые со всей решимостью и непреклонностью «шли на белых» и победили; это и молодой «горячий» гармонист, которого однажды эта горячность подвела так, что ему определенно «гореть бы... посреди страны», если бы не «один товарищ», что «взял гармонь за плечи», и та «как брату своему легла на грудь», «и всю-то степь от края и до края, рыдая, переполнила собой: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...».

В поэзии еще труднее, чем в прозе, создать яркий, типический характер. Здесь больше романтической условности, меньше «полезная» площадь для разбега характера, для его действия. Здесь от автора требуется еще больше, чем в прозе, того счастливого умения, которое определяет во многом истинный талант: через броскую, запоминающуюся деталь отдельный «частный» поступок героя, афористичность его речи — зримо передать суть характера героя, его отношение к

миру, его гражданскую позицию, его любовь и ненависть.

Вспомним историю. Октябрь 1917 года. Петроград. Зимний дворец. Атакующие цепи восставших. Мечутся в панике тринадцать министров-капиталистов. В помещение, где они укрылись, врываются вооруженные красногвардейцы и матросы. Мертвая тишина.

И в эту
                    тишину
                                раскатившийся всласть
бас,
    окрепший
                    над реями рея:
«Которые тут временные?
                                        Слазь!
Кончилось ваше время».

Сила, уверенность в победе революции звучит в лаконичной речи матроса-балтийца. Это голос народа, берущего власть в свои руки. Мы слышим его и в могучих раскатах «Интернационала» под сводами Смольного, где отряды участников октябрьского штурма

Впервые
            вместо:
                        — И это будет... —
пели:
        — И это есть
                        наш последний...

Отдельный штрих, едва уловимая словесная деталь: вместо «это будет» победивший народ провозглашает: «это есть». А как много сказано! Вот оно, образное виденье жизни! В поэме Маяковского «Хорошо!» оно исключительно велико.

Весь старый мир выступил против молодой Республики Советов. Угроза революции была велика. С нескрываемой тревогой говорит об этом бойцам перед боем «Коммунар-командир» в «Песне о великом походе» Сергея Есенина. Если победит враг, то «всем весь век тогда в нищете корпеть».

С горьким гневом рук,
Утерев слезу,
Ротный наш с тех слов

Сапоги разул.
Громко кашлянув,
«На, — сказал он мне, —
Дома нет сапог,
Передай жене».

Идя на смертный бой, «ротный знает», что враг опасен, коварен: победить или умереть — таков его, «ротного», революционный долг!

Кончен бой. Отступает разбитый враг:

Удивленный тем,
Что остался цел,
Молча ротный наш
Сапоги надел.
И сказал: «Жене
Сапоги не враз,
Я их сам теперь,
Износить горазд».

За этим на первый взгляд, казалось бы, «проходным» эпизодом с «ротным» встает вся трудовая Россия — миллионы крестьян, одетых в солдатские шинели; встает прекрасный реалистический образ Человека с ружьем. В нашей поэзии Есенин открывает его одним из первых.

Эпоха Октября, революционное прошлое России неотделимы от настоящего. В «Дали памяти» героическое прошлое продолжается в настоящем, в героях, которые олицетворяют наш день, народный характер нашего времени. Помимо тех образов, тех персонажей «Дали памяти», о которых речь шла выше, здесь и «сам землемер», который «со стороны учета» держит свою рассудительную речь о «кремень-слезе», о том, что «мы — всему, всецело государь-народ», законные хозяева «всей казне, с державным оборотом, и всей земле до деревца в лесу...»; здесь и «гвардейский не гвардейский, но все ж таки значительный такой один мужик. По складу — деревенский, а по чутью — по взгляду — городской... мастеровой в характере своем», который убежденно предлагает «на том большом соборе», отдать «кремень-слезу» на Урал, где ее перельют в железо, которое «к селу и к городу, как раз... Оно — и крепь. Оно — и рельс вдоль рельса. Оно — и связь. Оно — звено в звено — вся наша даль».

Главное, к чему стремится Егор Исаев, — это создание натурального характера в стихах. На этом пути у него верный и надежный ориентир — «Василий Теркин» Твардовского. «Еще ни в одной литературе мира во время войны и после нее, — отмечает Егор Исаев, — не появилось такого мощного и вместе с тем такого натурального характера в стихах. Вот она, глубина и вязкость пережитого. Тут как бы сам народ сказался в слове Твардовского».

Сказанное о Твардовском, его герое — Василии Теркине — мы с полным правом можем отнести и к самому Егору Исаеву, его поэме «Даль памяти». Ближе всего к решению этой многотрудной задачи поэт подходит в образах, которые ему, несомненно, особенно близки и дороги и в которых «на всю глубину и вязкость пережитого» запечатлен «сам народ». Это прежде всего — Степан Рудяк, Назар Шабров, Семен Угорин. Образы эти даны с перспективой «на вырост» в нашей душе, нашем сознании. «Сквозные», они проходят через всю поэму, «движут» ее сюжет. В них заложены главнейшие идеи «Дали памяти», ее глубинный смысл. Именно с судьбой этих героев самым теснейшим образом связано многоплановое течение важнейших, зачастую драматических событий поэмы, а также судьба других ее героев. Вспомним, как все трое — Рудяк, Шабров, Угорин — задают тон на покосе, идя впереди остальных косцов. Каждый из трех отличен своими особыми чертами, их не спутаешь друг с другом, как это случается порой с героями иных поэм и даже романов.

Встречаемся мы с героями Егора Исаева и в другой обстановке, в минуты их короткого отдыха, во время перерыва на покосной страде. И опять они разные, и каждый проявляет свой характер. Для Степана Рудяка в этом плане особенно примечателен случай с конем. Уже известный нам деревенский подросток — «лебеденыш», желая «выказать» свое «геройство» перед Тонькой, да и всеми бабами и мужиками, вдруг неожиданно для всех крепко ухватил «буланого за гриву», рванул на себя «стальные удила» — и конь «полетел, что облако». Поначалу казалось — все обойдется спокойно. Правда, настораживало то обстоятельство, что Рудяк «мужик добрей чем добрый» «окаменел», «как идол до святой

Руси». Чувствовалось, что он внутренне чем-то взволнован, встревожен и с явным нетерпением ждет возвращения «удальца» с конем:

И наконец дождался-
И — каменный —
Взорвался наконец:

— Резвисси, значит?
А на ком резвисси?!
Поизмывался, значит, над конем! —
И что ни слово —
Кнут без кнутовища
Да сырометным
　　　　　　　по глазам
　　　　　　　　　　　огнем!

Да по душе — восторженной! —
По нервам,
По всей
　　　твоей
　　　　влюбленности,
　　　　　　　　　　жених,
За удаль конокрадскую,
Во-первых,
За гонор — безоглядный —
Во-вторых,
Ох, ну я жег!..
А тут еще Угорин
Из-под усов, ощипанных женой:
— Кураж!.. Кураж!.. —
Подкаркивал, как ворон.

Поначалу можно подумать, что Степан Рудяк зря так яростно набросился на парня, что, пожалуй, уж очень он «жесток» и «бессердечен». Но не будем спешить с окончательными выводами. Повременим несколько и с «осуждением» Рудяка: вот, дескать, не оценил по достоинству порыв влюбчивой души. Дело-то все, как выясняется вскорости, оказывается, имело совершенно иную подоплеку. Конь, на котором так безоглядно-дико «носился» наш юный герой, «между прочим, был рабочим, не скаковым, а тягловым конем». Вот почему и «взорвался» «каменный» Степан Рудяк.

Измываться над конем «рабочим», «тягловым», который веками был на Руси и опорой, и кормильцем, и единственной светлой надеждой каждой крестьянской

семьи, ударяя этого коня и «под ребра, и в пах» лишь для того и только для того, чтобы он летел словно иноходец, — это значит потерять себя, свою душу, предать забвению одну из неписаных, но святых заповедей крестьянского быта, крестьянской трудовой морали.

Наши отцы и деды хорошо еще помнят то горько-соленое время, когда столь часто в крестьянской семье, отказывая себе во всем, недоедая и голодая, на последние гроши перед весенним выходом в поле старались раздобыть для коня-кормильца хотя бы несколько торб овса или охапок сена.

Эпизод с конем вроде «незначительный», но говорит он о многом, и прежде всего о справедливости и благородстве крестьянской души Степана Рудяка. Хлебороб и воин, он хорошо знает цену истинному геройству.

Солдат Рудяк защищал Родину под Хасаном. Там был тяжело ранен. Память от «встречи» с японскими самураями, решившими испытать еще в тридцатые годы крепость наших дальневосточных границ, осталась у него на всю жизнь:

...Тут вот — близко-близко,
Уж ближе нет —
У сердца и виска.
Хасан, он вон где — в сопках уссурийских,
А шрам, он вот —
Над бровью Рудяка
Горит,
Горит
Зарубинкой багровой
И знать дает
Наглядностью своей,
Что нет ее, огромной-преогромной,
Земли родной
Без родинки на ней,
Без пяди нет,
Без краешка,
Без края,
Без колоса с державного герба.

Кажется, сильнее и не скажешь! Все точно, все емко, все на месте. За этими немногими литыми строками встает и личная судьба Рудяка, и живой лик его времени, и сама история страны.

Поэт «уготавливает» каждому из трех своих героев

такие неожиданные и крутые повороты их судьбы; «задает» каждому из них такие испытания на стойкость их совести, стремится «высветить» такие особенно памятные моменты в их жизни, что все они становятся для нас удивительно родными и близкими.

Назар Шабров в отличие от Степана Рудяка открывается нам наиболее полно совершенно в иных обстоятельствах. Перед нами проходит как бы вся жизнь Назара Шаброва. Мы узнаем главное, — что этот «мастак по части сена» в душе — поэт, который не только «косил, как пел», но в руках которого так самозабвенно, с такой сердечной отдачей пела, словно живая душа, видавшая виды деревенская гармонь. Он часто играл на ней односельчанам:

И как играл!
Костер — на венском стуле!
А где костер, там, я б сказал,
Озар
Цветастых кофт,
Платков...
Не потому ли,
Как свадьба где, —
Послы к нему:
— Назар,
Уважь, родной...

И Назар, «премного званный, премного славный в местности родной», «уважал», «светил, душа простая», «на все лады», вновь и вновь согревая людские сердца раздольной, крылатой песней. Песня эта объединяла людей, рождала чувство братского уважения и доверия, очищала их от житейских мелочей, от всего случайного и наносного.

Как проницательно замечает автор поэмы, Назар Шабров

Светил не просто
Бракосочетая,
А согласуя
Плечико с плечом,
Ладонь с ладошкой,
Ладно так и сродно
Высвечивал с певучих подмостей...
И — веришь, нет —
Ни одного развода

На сорок свадеб,
А зато детей —
Разлив-прилив!
Детей, брат, было море!..
Вот как играл!

Поэтический настрой, которым столь щедро наделила Назара Шаброва мать-природа, проявляется у него во всем.

Вот он, сидя «за тещиным столом», «поигрывая словом поверх блинов и около того», неспешно ведет беседу «про то, про се, а больше про солому». Казалось бы, обыкновенные деревенские дела и заботы. Но даже этот обыкновенный прозаический рассказ о соломе в устах Назара Шаброва одухотворенно-эмоционален.

Солома — все!
Соломой что покрыться,
Что постелиться...
Всем она взяла!
Она — и кормовая единица,
Она — и шапка для всего села.
Она — и жар!
Внесешь ее с морозца,
Как в рай какой отворишь ворота, —
Она смеется,
И жена смеется,
И сам ты весь веселый...
Красота
И лад в семье!
Откроешь все задвижки —
Она пчелой
взыграет огнезой!..

Жизнь не только одарила Назара Шаброва чувством прекрасного. Она уготовила ему немало суровых испытаний. Однажды он чуть-чуть не отправился «с конем в одном конверте к давным-давно замерзшим ямщикам, туда-туда — в проем потусторонний, за самый тот последний окоем». Случилось это тогда, когда Назар Шабров попал под «метельный гак», который «в образе бурана» ворвался в степь из «тамбовских лесов».

Вот тут-то он
И дал винта Назару,
Тот самый гак,
И если бы не конь,
Каюк Шабру:

Уснул бы без просыпа,
Не отогрел бы никакой райтоп.

«Друг старинный» выручил и на этот раз своего хозяина, «усек ноздрей конюшню, как тот помор Полярную звезду».

Все было бы ничего, да вот — обмороженные руки! С тех пор навсегда распростился Назар с гармошкой. Он был бы рад и дальше, как в прежние добрые времена, озарять людские души своей игрой, но нет в пальцах «прежней перебежки», «нет стона-перезвона, и музыка не клеится никак».

Вместе с Назаром Шабровым мы грустим об этой невозвратимой потере и для него, и для тех, кого своей песней согревала Назарова гармонь. Одновременно нам приятно сознавать, что Назар Шабров от этой лихой беды не озлобился, не отвернулся от односельчан, что он по-прежнему «живет себе по совести, по правде».

Натуральный характер Назара Шаброва с особой силой и убежденностью свидетельствует и о поэтичности и о стойкости народной души, которая способна выдюжить любое горе, любое испытание, любые житейские невзгоды и — главное — не потерять себя, сохранить доброту и человечность.

Свои испытания задает жизнь и Угорину Семену. Его характер открывается наиболее полно в отношении к женщине, особенно в те светлые мгновенья, когда в желанных муках она дарит миру новую жизнь — продолжение рода человеческого:

А было как?
А было: ночь сырая
Стояла в мимолетных облаках.
И наш Семен, минуты не теряя,
Как жаль свою,
Как речку на руках,
Понес жену, притихшую до срока,
На край зари
С неясным бережком.

И все было бы хорошо, все путем, не попади Семен Угорин именно в эти волнующие, тревожные часы ожидания под «половодный гак», который «как будто знал, что в розвальнях, на сене, еще один хороший чело-

век не может ждать». Разыгравшаяся в половодье река снесла, как подкосила, мост у плотины и отрезала дорогу в райцентр. А тут еще как назло у причала «ни лодки... и никакой посудины другой».

Ревел поток!
И женщина кричала
И шла своей
положенной
рекой —
Рекой любви,
Рекой людского рода,
Рекой других светающих времен —
На край зари,
На берег небосвода,
На белый свет...

Ревел поток... А на берегу, вблизи разрушенного моста, рядом с этим ревущим потоком, беспомощный и растерянный, стоял Семен Угорин, не зная, что ему предпринять, чтобы хоть чем-нибудь помочь самому близкому человеку в эти драматические минуты. Он лишь

Топтался виновато
Вокруг саней.
А что еще он мог?
Тулуп — с плеча.
И руки — для подхвата
— Сынок, — просил, —
Да что же ты, сынок,
Так мамку рвешь,
Да я ж тебя за это
Как выйдешь вот,
нашлепаю, стервец!

Нет на земле радости выше, чем радость рождения Человека. Даже и тогда, когда людей труда со всех сторон окружали «свинцовые мерзости жизни», даже и тогда для женщины материнство было великим счастьем, наградой за все ее земные боли и страдания. Вспомним знаменитый горьковский рассказ «Рождение человека» и особенно глаза его героини, бездонно-голубые, как небо. Она не отрываясь все смотрела и смотрела этими наполненными счастьем материнства глазами на своего малыша, который только что появил-

ся на свет и рождение которого автор рассказа сопровождает добрым напутствием: «Шуми, орловский!»

В наши дни особенно велика радость рождения нового человека — будущего хозяина страны. Озаренно поведал нам об этом Егор Исаев в своей поэме:

Зажегся флаг
над крышей сельсовета
Как добрый знак.

И — ах, ты! —
Наконец
Явилось солнце
повивальной бабкой
Степенно так —
Не по мосту, а вброд —
И воссияло, красное:
С прибавком
Тебя,
Великий океан-народ!
С волной тебя, роженица!
С рассветом
Тебя, малышка!
С доченькой, отец...
С кустом вас всех!

И — веришь, нет —
Об этом
В момент
скворчихе
доложил
скворец,
А та — грачу,
А тот — жарку-звоночку...
И тут уж конь не выдержал —
Заржал:
Ну что ж, что дочка,
Хорошо, что дочка!

Счастье материнства... Счастье отцовства... Каждое из них прекрасно по-своему. Лучше, чем Егор Исаев, сказать об этом трудно. Его стихи буквально «заражены» этим святым чувством. Особенно проникновенно поэт говорит об отцовском счастье, пережитом его героем — Семеном Угориным:

Семен воспрял!
Семен, как та скворешня

В часы прилета, радость излучал —
Сиял мужик!

И — вот что интересно —
Он как-то так усами помягчал
К жене своей.
И все у них рядочком
Пошло с тех пор —
Про то и разговор, —
За дочкой — дочка
И еще раз дочка,
Ну а потом...
Потом как на подбор
Сыны пошли —
Угоринцы,
Угоры!
Силен Семен.
И это не предел.

Крепко, плотски, всем сердцем надо любить жизнь, людей, их боли и радости, чтобы сложить такие стихи! Читаешь «Даль памяти» и думаешь о Егоре Исаеве: что он выделывает в стихах! Просто непостижимо! Берет, кажется, самое обыкновенное, житейское, будничное и творит такую красоту! Как все ладно у него складывается! Такое ощущение, что это не стихи, а проза, под стать тургеневской или толстовской. Но, пожалуй, ближе всего исаевский стих к шолоховской прозе.

И все же, пока Егор Исаев создает свои поэмы, пока он вместе с нами, вероятно, трудно до конца понять и почувствовать, что он значит в современной поэзии. Что поделаешь, чаще всего большое видится на расстоянии, и, как правило, в своем отечестве не бывает пророков.

Однако вернемся к исаевским героям. Вспоминается одна из бесед с автором «Дали памяти». Речь мы тогда вели о людях, по-разному связанных с жизнью и относящихся к ней, по-разному ведущих себя в обществе и отдающих себя этому обществу. Оказалось, что у Егора Исаева на эту проблему был свой определенный и четкий взгляд, с живой, образной аргументацией.

— Те, кто себя знает до конца, — люди завершенные, как манекены. Это — прудовые люди. Набрали воды — и стоят. Знания, эрудиция их без движения. Мало выразить мысль, изобразить мысль, надо уметь промыслить до конца, на всем расстоянии, — убежденно говорил Егор Исаев. — К примеру, плохой актер, который

не творит на сцене, а лишь формально ведет свою роль. Смотришь и не веришь. Он тебя не зажигает. Тот же хлеб, а есть нельзя. У такого актера, конечно, есть и определенные знания, и эрудиция, но они заданны, мертвы. Актер есть, но нет главного — человека. Так и в нашем стихотворном деле...

Иное дело, — как бы рассуждая вслух, продолжал Егор Исаев, — люди речного плана. Мысль их всегда в движении. Они все время познают что-то, открывают что-то. Волга — она и в верховьях, и в среднем течении, и в устье — Волга, и везде — разная, хотя река одна. Так и люди, истинно творческие, одержимые — всегда разные, речные люди!

Есть еще озерные люди. Они и глубинные, родниковые, и облачные. Вода-то озерная все время стремится в небесную синь, все время ее ввысь солнце поднимает.

Наконец, встречаются в нашей жизни еще и сегодня такие люди, которым надо наигрывать значительность, держать себя в недопуске к другим. У таких людей, — замечает поэт в конце нашего разговора, — к людям речным, озерным, творческим зависть с перспективой.

Эти мысли-раздумья о «разных людях» сложились у Егора Исаева, очевидно, давно. С присущей ему убежденностью он их неоднократно высказывал и ранее, в своих выступлениях. Главное же — он настойчиво претворял их в жизнь в своем творчестве. Дальнейшее художественное преломление эти взгляды получают в «Дали памяти». В этой поэме почти нет людей прудовых — безликих статистов и мертвых манекенов. Вместе с тем в поэме живет и действует очень много людей озерного и особенно речного плана, не признающих застоя, косности, рутины; всегда творчески одержимых, мыслящих по-государственному широко и раскованно. Подобно великой Волге, жизнь людей озерных, речных в поэме Егора Исаева — это неодолимое движение вперед, к возвышенным идеалам свободы и гуманизма, подлинный смысл и значение которых утвердила на нашей планете Великая Октябрьская революция.

Среди речных людей выделяются крупно хорошо известные нам Степан Рудяк, Назар Шабров, Семен Угорин. Они подлинные хозяева жизни, хозяева судь-

бы — и своей личной, и судьбы народа. Они сам народ. Отсюда их чувство собственного достоинства. У них свое, народное понятие смелости, храбрости, героизма. Оно для них не во внешне броских поступках, а прежде всего в трудовой стати. Озаренные трудом, они истинно прекрасны. Они способны по достоинству оценить труд других. И не случайно сердца их отданы рабочему, «тягловому коню». При Советской власти они впервые за долгие века обрели на русской земле счастье и радость жизни. Вот почему так споро они трудятся на покосной страде, вот почему так героически сражается под Хасаном Степан Рудяк, так отзывчив душой к людям Назар Шабров, с таким восторгом переживает свое отцовство Семен Угорин. Люди богатырского нравственного здоровья, они как бы олицетворяют собой в поэме духовную мощь и нравственную силу народа.

Все исаевские «мужики», и речные и озерные, — это истинные хозяева земли. Уверенно чувствуют они себя на ней. Встречаясь с ними на страницах поэмы, читатель наших дней, особенно молодой, имеет возможность наглядно убедиться в той объективной истине: как далеко за годы Советской власти шагнула вперед — в социалистическую новь — русская деревня, которую революция навсегда освободила от того страшного, рабского времени, когда «власть тьмы» господствовала в крестьянской жизни.

* * *

Очень важную идейную и художественную нагрузку обретает в поэме по мере ее движения образ молодого героя — «лебеденыша». От его имени ведется рассказ во многих главах.

Жизнь этого героя встает перед нами как на ладони от первых ее шагов по земле:

Иди, малыш,
И я,
Как по неверной
Волне, шагнул
И удержался — сам!

Первые шаги по земле, первая встреча с «живым букварем» природы, первые открытия для себя ее неповторимых чудес, первая встреча с земной опасностью,

а то и со смертельной бедой, когда перед тобой из норы «по рытвинам, по комьям змея стекла, как тихий, жуткий гром...».

И прозаики и поэты не однажды до автора «Дали памяти» поведали нам о своем «открытии мира». Свое «открытие мира» и у героя Егора Исаева:

Огромный мир —
На маленькое сердце,
Он с головой окатывал меня...

Поэт не описывает нам подробно детство своего героя. Для него главное показать, как шло становление его характера, как окружающий мир влиял на него, закалял его волю, учил мудрости жизни. Два солнышка — вечное и «запазушное» — трепетное сердчишко деревенского подростка, —

Не вечное,
Но вечному сродни:
Они вдвоем в заздравном непокое
На вырост мой раскатывали дни.
Они вдвоем —
Зови не дозовешься —
Несли меня,
Ликуя на бегу,
В мои поля,
В подсолнечные рощи —
В степную, лопоухую тайгу.

Когда-то Сергей Есенин с радостью признавался: «Как хорошо, что я сберег те все ощущенья детских лет». В полной мере это дано далеко не каждому. Идет время, и ощущенья детских лет стираются в нашей памяти. Счастлив тот, кто до конца дней сумеет сохранить всю их первозданность, всю чистоту.

Егора Исаева судьба наделила памятью, в далях которой навсегда запечатлелись воспоминания детских лет:

Там хорошо!
Там солнечные брызги
Не бьют в лицо,
А льются, не слепя.
Идешь по ним, —
И голос материнский
Как будто не касается тебя:
— Пора домо-о-ой!.. —

А ты: — Да ну, да ладно! —
Идешь себе.
Какое там «пора».
Когда курган
подступит «агромадный».
Ну чем он, спзоверхий, не гора.
Чем не Казбек!
И ты на четвереньках
Возьмешь его
Как вынырнешь:
Ух ты-ы!
Внизу она, степная деревенька,
Внизу они, огнистые цветы
Твоих лесов!
И голос за лесами:
— Домо-о-ой!.. Домо-о-ой!.. —
Родимая зовет.

Озорное босоногое деревенское детство. Оно, как и всякое детство, обрывается и кончается неожиданно. Появляются первые серьезные обязанности. Хочется побыстрее стать взрослым: «И ты однажды бравым новобранцем войдешь в ряды завзятых косарей». Неудержимо-стремительно летит время в пору юности.

Ты застрадал,
Выстрадываясь в парня,
На том,
На непонятном рубеже
Судьбы своей.

В образе молодого героя поэмы легко угадываются многие черты самого автора. Его деревенское детство, его крестьянская юность «отшумели» в родном селе, что раскинулось на реке Битюг, в степном воронежском краю.

Что же, подумает в связи с этим иной читатель: это он себя изобразил, себя «прославлял». И да, и нет! Образ молодого героя поэмы, несомненно, автобиографичен. Вместе с тем в нем выражено нравственное богатство молодого поколения, которому историей было уготовлено тяжелейшее испытание на стойкость души и человечность: вынести на своих плечах, вместе с отцами, страшную войну с фашизмом. Жизнь автора «Дали памяти» нерасторжимо связана с судьбой этого поколения. Он принадлежит к этому поколению и от его имени выступает в поэме.

Заметим также, что образ молодого героя придает «Дали памяти» при всей ее эпической мощи глубочайшую лиричность, делает поэму глубоко личной для всех и каждого. Так всегда случается в творчестве по-настоящему больших художников.

Рассказывая о себе, они, по сути дела, рассказывают о нас. Вспомним классиков прошлого века, вспомним Блока, Маяковского и особенно лиричнейшего из них — Есенина. Вспомним одну из наших лучших послевоенных поэм — поэму Твардовского «За далью — даль».

Для нашего эпоса издревле, начиная со «Слова о полку Игореве», были характерны черты неповторимой задушевности и лиричности. Как правило, этими чертами были проникнуты и озарены в русской поэзии даже самые эпичнейшие картины народной жизни.

Все это незримо приближало и продолжает приближать ныне русский поэтический эпос к душе и сердцу современного читателя, делая и его лично как бы соучастником героических событий прошлых веков.

Не только в характере и поступках молодого исаевского героя мы обнаруживаем авторские черты. Они «просматриваются» и угадываются во многих других героях «Дали памяти». Все они озарены любовью автора. Он их хорошо знает, он не скрывает своего восторженного отношения к ним, их уму, их душе. В его поэму они пришли из жизни, многие из них — его односельчане. Он и сегодня продолжает встречаться с ними. Придет время, и эти встречи отзовутся новыми народными характерами в новых книгах поэта. «Прошлым летом, — рассказывает Егор Исаев об одной из таких встреч, — помню, мы с одним коршевским трактористом уговорились порыбачить. Встали рано, когда еще не свет, а чуть светочек — и на Битюг. Есть такая прекрасная река на Воронежщине. Баркас был неважный, но позиция под окуня хороша. Клев еще не начался, а красота!.. Красота, вот она, вокруг, еще неясная до первого луча, глубокая еще, тайная... И вот он — первый луч! И я вдруг как выдохнул:

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.

Откуда это? От Никитина или от светающего утра? Сосед молчал, тайный тоже весь. С минуту прошло, пока он отозвался как эхо с того конца баркаса:

— А хорошо!

— Что хорошо?

— Да то, что ты сейчас сказал:

Заметьте: не «прочитал», а «сказал». Он с ходу ощутил органичность прочитанного мной и тут же отнес его прямо к жизни. И тут же рывком откинулся:

— Ого! Вот он полосатый. Прямо из-под зари, из-под воды зеркальной, из-под кудрей... Хор-ро-ший! — и улыбнулся, зубы белые-белые, а ты дальше говори, Лександрыч. Для озара говори.

«Озар» — что это такое? Расспрашивать было некогда: окунь пошел один за другим. И лишь потом, перед тем, как искупаться и идти домой, я спросил: а что такое «озар»? Он усмехнулся:

— Подловить меня хочешь? В неграмотности уличить? — и, довольный собой, повел свой урок. — Я ведь тоже знаю, что такое азарт. Это — когда горячо, споро в работе или же в игре. Но «озар» — лучше! Он к душе больше подходит — заря в нем есть, мягкий огонь — светлость особая, которая не слепит, а глубже видеть дает.

Я поразился: как точно он чувствует Никитина».

Надо очень любить людей, очень хорошо знать их, верить им, наконец, надо везде и всюду оставаться самим собой, не заноситься, не отрываться от земли, от народной жизни, чтобы люди вот так «просто», как этот, внешне мало чем отличающийся от других сельских механизаторов, коршевский тракторист, открывались тебе до сокровенных глубин души, во всей нравственной красоте.

Коршевский тракторист, с которым вел свою беседу и рыбачил Егор Исаев, а особенно мужики и бабы — герои «Дали памяти», живо напомнили мне мужиков и баб деревни Прислонихи, выразительные портреты которых создал их односельчанин — народный художник Аркадий Пластов.

Гигант — вот слово, которое как-то исподволь, само собой, возникало в сознании при встрече лицом к лицу с полотнами Пластова, для которых и грандиозный

зал Манежа, где они были выставлены, оказался мал.

Гигант и по содеянному, и по глобальным масштабам художественного видения, и по необозримому количеству картин, таких разных и неповторимых, и таких единых в главном — в их предельно национальном, ярко выраженном русском характере. Переходя из одного в другой зал необъятного Манежа, от картины к картине, все больше и больше погружаясь в художественный мир Пластова, испытываешь форменное потрясение от всего содеянного великим русским живописцем. Просто непостижимо, как все это мог свершить один человек. Даже просто чисто технически и физически, не говоря уже о затрате художником эмоциональной энергии.

Картины Аркадия Пластова — это художественная летопись жизни его односельчан, за которой на полотнах живописца, так же как и в исаевской «Дали памяти», встает вся Россия.

Аркадий Пластов завершил свой земной путь.

Егор Исаев ныне на вершине своего таланта, в расцвете творческих сил. Он далеко не сказал еще своего последнего слова об односельчанах. Ему еще предстоит многое поведать нам, читателям, об их жизни — жизни и светлой судьбе его Родины.

* * *

Соединение в «Дали памяти» действительности, крестьянского быта, самых реальных картин природы и деревенской жизни со сказкой, легендой, с вымыслом и романтической символикой — едва ли не самая примечательная особенность художественного метода ее автора. Важно при этом подчеркнуть, что все легендарно-сказовое, «придуманное» Егором Исаевым, все облачено в такую зримую, образную, реальную плоть, что вы ни на минуту не сомневаетесь, что так оно и было на самом деле, в самой жизни. Пожалуй, особенно примечательна и характерна в этом отношении глава «Три гака».

А что дорога?
Ясно, что дорога...
По ней вся жизнь.
Дожди ли там, сугробы,

Гроза ли, град,
Мосты ли — не мосты,
А хлеб вези!
И все бы ничего бы,
Когда на хитрый хвостик
                                        у версты,
Когда б не гак.
Добро,
Когда вершковый
Добавок тот, а что как верстовой?

Про то дорога знает под подковой
Да небо, что плывет над головой...

Оттолкнувшись как бы от обычного, житейского, что с давних пор бытует в нашей разговорной речи, особенно деревенской: «— Далеко ли до того села, той станции?» — «Да верст пять, шесть, с гаком будет», — Егор Исаев сумел за этой крылатой афористической присказкой разглядеть такую даль народной жизни, такую народную мудрость и философию и вместе с тем как художник, сумел наполнить отвлеченное понятие «гак» такой конкретной современной образной жизненной правдой, что мы без тени колебаний поверили в реальность всех исаевских гаков: и «продольного» и «карусельно-кругового, метельного», и «половодного».

А как ты думал?
Гак он, брат ты мой,
Не просто гак,
А даль в четыре дали
До наших дней
С допрежнего вчера.
Его, бывало, ямщики мотали
И не смотали,
Нынче шофера
Мотают вот — с поклажей,
                                        без поклажи —
На все колеса
Из конца в конец...

Рассказ о каждом гаке — это каждый раз законченная поэтическая новелла. При этом Егор Исаев почти всегда идет от частного, как мы видим, конкретного случая в жизни одного из героев поэмы, будь это Назар Шабров, угодивший случайно под «карусельно-круговой,

метельный гак», или Степан Угорин, попавший под «половодный гак» — к художественно обобщенным картинам народной жизни, огромного гражданского накала.

Она ведь нам
не с полочки досталась,
Родная наша,
Кровная страна,
А с-под огня,
С-под шомпола,
С-под пики,
С-под страшного разора-грабежа.

Давно ль, скажи,
тут злобствовал Деникин,
А там,
С краев,
Четырнадцать держав.

«Гак» у Егора Исаева — это и даль народной памяти, и наш сегодняшний день, и продолжение нашего движения к новым горизонтам жизни, и преодоление на пути этого движения неизбежных трудностей, а порой неимоверно суровых лишений и испытаний. Так было в дни Великой Отечественной войны, так было в первые послевоенные годы:

И надо было
Строить,
Строить,
Строить,
И курс держать на тягловый мотор.

И надо было
Рублик, что по весу
Позолотей,
И сельский трудодень
В один котел,
В Магнитку класть,
В железо,
А ту слезу, которая кремень,
В булат,
В броню....

Взгляни по горизонту
Туда-сюда:
Не так уж он и чист.

А гак, он что?
А гак, он хоть и контра,
Но никакой, конечно, не фашист...

«Гак» для Егора Исаева, наконец, — это и обратная, оборотная, сторона движения — торможения. Во всех случаях жизни нельзя без тормоза: и на земле, и в просторах вселенной, и в поэзии. В космосе важны те силы, которые выводят корабль на орбиту, но, пожалуй, самое сложное — это затормозить, «погасить» космическую скорость корабля, без чего невозможно вернуть его на землю. Атомный взрыв рождает термоядерная реакция. Затормозить ее ход, научиться управлять энергией атомного взрыва — такую задачу решают сегодня ученые...

Своя взаимосвязь движения с торможением и в поэме Егора Исаева. Динамическое развитие событий в главах «Дали памяти» «затормаживается» лирическими отступлениями автора, неожиданной перебивкой сюжета, поворотом его в обратную сторону: из настоящего в прошлое, из будущего — в историю.

Издавна хорошо известно, что поспешать надо медленно. А то ведь как бывает: поспешишь — людей насмешишь. Да и в наше время, на памяти каждого из нас бывали промашки, срывы и в больших делах, и в малых, из-за этой самой излишней поспешности, из-за этакой лихой безоглядной езды при отсутствии тормозной силы. История с «тремя гаками», так живо и образно воссозданная автором, как бы еще раз напоминает всем нам о той истине, что любое дело надо делать с умом, с душой, с точным расчетом своих сил, что в любом деле надо быть готовым к взрывчатой встрече с неожиданными трудностями, надо учиться «спокойно» преодолевать эти «гаки» — трудности и без излишней суетности, поспешности, спокойно и уверенно идти вперед — к намеченной цели; вовремя притормаживая, равно как и вовремя давая движению максимальное ускорение.

Ну, словом так:
Страна-то вон какая
Просторная!
И гак ли там, не гак,
А жизнь идет
И в том и в этом плане —
С ноги идет,
С копыта,
С колеса

И сверх того:
Ты глянь, аэропланы
Дорогу поднимают в небеса!
Крыло в крыло,
Как в песне, голос в голос,
Про степь да степь
За праздничным столом
И то сказать:
Сам полюс,
Как под полоз,
Прошел уже под чкаловским
крылом...

Читать эти удивительные стихи рассудочно-спокойно, без окрыляющего душу сопереживания невозможно. Такие стихи — настоящая поэзия. Они рождаются в сердце художника тогда, и только тогда, когда об этом невозможно говорить прозой. Такие стихи пересказать нельзя. Пересказать — это значит умертвить их плоть, убить их живую душу. Такие стихи надо читать полностью и перечитывать, в крайнем случае — цитировать в отрывках, что мы и делаем здесь, отдавая должное таланту их автора. Надеемся, что приведенные нами строфы и строки из поэмы дадут возможность хотя бы частично почувствовать всю живую красоту исаевского стиха.

Глава «Три гака» построена автором, по сути дела, как единая, развернутая, многоступенчатая метафора. Она пластична, объемна. Ядро ее — живая, проницательная мысль поэта, находящаяся в постоянном развитии. «Пока не добьюсь пластики движения образа, — заметил как-то в разговоре Егор Исаев, — пока образ не течет, не движется, не вырастает в стихах, как дерево, я не могу успокоиться, не могу считать работу над ним завершенной, не признаю образа без его движения, лишь как отдельную деталь стиха».

Для чего это нужно автору? Цель единственная — дойти до глубины души, глубины сердечной своих читателей, чтобы перед каждым из них встал любимый образ Отчизны!

Земля земель сомноженных народов,
Соборный свод согласных языков.

* * *

В поэтической кладке «Дали памяти» нет словесных пустот, нет ничего лишнего и случайного. Попробуйте убрать в поэме всего лишь одну строфу, да что там строфу — одну строку — сразу же закачаются и «рухнут» многие строфы.

Егор Исаев прекрасно чувствует пластику, движение слова. Оно у него всегда живое, свое, оно как бы прорастает и набирает силу и соки на наших глазах.

«Даль памяти» словесно замешена густо, каждая из ее строф и строк выразительно точна и обязательна в контексте всей вещи. Все это, вместе взятое, создает в поэме ту протяженность, вязкость и глубину мысли и чувства, до которых читатель, особенно малоискушенный, куда чаще встречающийся со стихотворными поделками, чем с настоящей поэзией, «добирается» далеко не сразу. Зато, «добравшись» до сути «Дали памяти», поднявшись на ее вершину, он, читатель, словно обретает романтические крылья, для полета его фантазии в удивительный мир поэзии Егора Исаева.

Самые лучшие стихи — это, когда мы забываем, что это стихи, когда они звучат как проза, сохраняя вместе с тем все особенности, все закономерности стихотворной, а не прозаической речи.

Со времен «Страны Муравии» и «Василия Теркина» не приводилось встречаться с такой глубинной народностью стиха, с такой его «простотой» и естественностью, как в «Дали памяти».

И авторская речь, и речь героев поэмы почти всегда созвучны и близки образной народной речи, в которой, что ни фраза: либо пословица, либо поговорка, либо присказка.

— Ты чувствуешь, — заметил как-то в беседе Егор Исаев, — я все время стараюсь быть в стихах, в слове около поговорки. Это очень трудно. Иной сплющивает слово — сок уходит. Слово должно сказываться само — это предел художественности. Я задаю себе, — подчеркивал он, — самые трудные задачи.

Пример Егора Исаева — выдающегося мастера стиха, работа его над словом, — особенно в новой поэме, еще раз убеждает в непререкаемой истине: только в глу-

бинах народного языка, а точнее, народного мышления может поэт открыть новые языковые дали.

Как и народная речь, исаевский стих исключительно многоголос и музыкален. То он звучит в поэме как степенный, обстоятельный, мужицкий рассказ о крестьянской жизни; то — как озорной и веселый шум, в праздничный день, на деревенской улице; то — печально и грустно, как в горькие минуты одиночества и вдовьей тоски; то — торжественно-скорбно и величественно, когда поэт ведет речь о разинских и пугачевских временах; то — призывно-революционно, словно в поэму врывается огненный вихрь Октября; то — лирически-задушевно, как одинокая, затерявшаяся где-то в поле, в степных российских далях грустная ямщицкая песня-боль; то — как задорная частушка, только что сложенная кем-то из односельчан поэта; то — как революционная песня, суровая и скорбная, «взрывающая» царские тюремные казематы; то — как раздольная, многоголосая народная песня-сказ, песня-баллада о светлых днях нашей жизни...

«Даль памяти» — поэма тончайшей и точнейшей архитектоники. Композиционная соразмерность всех ее частей, их идейно-эмоциональная связь просто поразительны. Нет ничего второстепенно лишнего, что может помешать движению мысли, движению души и сердца читателя навстречу поэме; все, что может затормозить это движение, все решительно отсечено рукой опытнейшего мастера...

Во время строительства жилого дома из сборных конструкций при необходимости можно сравнительно легко увеличить или уменьшить количество секций, убрать или нарастить несколько этажей — все это почти не изменит стандартной архитектуры дома, возведенного по «типовому проекту».

Очень огорчительно, что порой и в поэзии по такому стандартному «методу» из отдельных разрозненных стихов-«секций» складываются иные современные «поэмы». При желании можно легко и безболезненно из такой «поэмы», чаще всего очень длинной и многословной, изъять, сократить несколько стихов-«секций», или, наоборот, добавить несколько новых, или, наконец, без особых усилий переставить их с места на место.

Подобная «творческая» работа над «поэмой» мало что изменит в ее содержании и композиции.

Главы «Дали памяти» предельно самостоятельны. Каждая из них как поэма. Вместе с тем каждая из них внутренне, своей мыслью, движением сюжета органично соединена с другой; одна как бы впадает в другую, как приток величавой поэтической реки, имя которой — «Даль памяти».

Есть и еще одна весьма важная и поучительная особенность композиционной структуры исаевской поэмы: ее объемность.

— Художник, — убежденно говорил Егор Исаев во время одной из бесед, — должен быть и рекой, и берегом. Должен увидеть все со стороны движения. Это трудно. Берег — стоит, река — движется. Берег стоит, но сопровождает реку. Важно увидеть все со стороны движения, увидеть и простор и даль. Иначе все будет как в комнате.

В поэме Егора Исаева отчетливо и ясно просматриваются многие дали: и историко-революционные, и социально-временные, и космически-вселенские. Войдя в «Даль памяти», вы все время чувствуете себя как бы в центре мироздания, на необъятных просторах Родины.

* * *

Художественно точен, по-народному мудр, философски проницателен взгляд автора «Дали памяти» на самые острые, самые насущные проблемы современности: социальные, нравственные, эстетические, исторические, политические. Все они исследуются Егором Исаевым художественно всесторонне и обстоятельно, и, как мы видели, все находит в поэме глубоко личное преломление и освещение автора.

В связи с этим обратим внимание еще на одну, по существу, глобальную в наш век проблему. Сегодня невольно, особенно те, кто рождается и живет в городах, начинают все больше утрачивать те глубинные связи с живой природой, которые на протяжении столетий участвовали в формировании миросозерцания человека, стихийно, но неодолимо воздействуя на его нравственные устремления, гуманный настрой души.

За какие-нибудь сто лет в буржуазном мире произошла такая урбанизация жизни, такое хищнически оголтелое истребление природы, ее богатств и красоты, что ныне необходимы усилия всего человечества, чтобы остановить зловещий процесс разрыва вечных связей человека с природой.

Пожалуй, трудно найти писателя, особенно поэта, который не затрагивал бы эту проблему века.

Еще в шестидесятые годы вышел сборник стихов выдающегося поэта современности Василия Федорова — «Третьи петухи». В этой книге впервые в послевоенной поэзии с такой беспощадной откровенностью и разящей правдой говорилось о том, что долг человечества не только сохранить, но и преумножить богатства природы для будущих поколений:

Меня охватывает дрожь,
Когда смотрю
В провал заклятый.
О человечество,
Куда ты,
Куда ты, милое,
Идешь?..

Меня охватывает гнев,
Утраты восполняя скудно,
Ты истребляешь
Безрассудно
Природы
Вековой посев...

Земли
Не вечна благодать.
Когда далекого потомка
Ты пустишь по миру
С котомкой,
Ей будет
Нечего подать.

Вслед за «Третьими петухами», особенно после известных законодательных актов об охране природы, многие поэты заговорили в стихах о природе и отношении к ней человека. При этом иные из них в своем полемическом запале стали утрачивать реальность вещей и явно впадать в другую крайность. Если послушать некоторых поэтов, почитать их стихи, то получается, что

самое «лучшее»—это вообще не трогать природу, а лишь созерцать ее — хранить как музейный экспонат.

Егор Исаев в «Дали памяти» все время «заставляет» героев своей поэмы разумно обращаться с живой природой, находиться с ней в постоянном взаимном контакте, столь необходимом и ей — природе, и особенно — людям...

Дивно красивы заливные воронежские луга до покоса. Наступает покос.

И... конец этой красоте.

Не жаль косы,
Росы не жаль, конечно,
Да только вот цветов немного жаль,
Жаль красоты!

Кажется, самое простое и «разумное» — не трогать этой красоты. А что делать крестьянину зимой без сена?

Эх, кабы так,
А то ведь как озлится
Сама зима.
Уж чем ни улещай,
Возьмет свое —
Оставит, что побриться.
А потому-поэтому:
Прощ-щай!
Прощ-щай, цветы,
Прощ-щай, густые травы,
Лож-жись
Под ливень
С правого плеча!

Трогай природу, как бы говорит нам поэт, — это неизбежно. Но трогай с умом эту земную благодать, которая испокон веков облагораживала людские души, сохраняла нравственное здоровье народа, поила и кормила род человеческий.

Для героев «Дали памяти» характерно чувство «хозяина земли»; у них нет конфликта с природой, они берегут красоту земли, к родной природе они относятся с сыновней любовью и благодарностью. Сама же природа в «Дали памяти» — один из активных, действующих героев поэмы. «Земля-сторонка и земля-страна» видятся в его поэме до самой дальней дали: и «в сторону Сибири и в сторону кронштадтских маяков». Знаменитая

«Магнитгора» и воронежская «степь от края и до края», известное всей стране дальневосточное озеро Хасан и мало кому ведомое глухое таежное займище, «звезды на кукане» и «пчелиный перегуд», «кукушкин лен» и «долгий крик осенних журавлей» — все это создает в «Дали памяти» живую картину земли русской, неповторимой красоты ее природы.

С этим чудесно-сказочным миром встречаются «с рожденья» герои Егора Исаева; встречаются с густыми, рослыми травами, которые деревенского мальца «как ливни, под рубаху били из-под земли и сверху, где-то там, над головой, под самым синим небом цветки свои качали, не дыша...», встречаются с солнцем, которое так щедро согревает на земле все живое, «раздавая по лучу росинке каждой, чтоб она сверкала, соринке каждой, чтоб взялась травой...».

Не забывайте! Природа — часть каждого из нас — землян, и каждый из нас — часть самой природы! Об этом говорит вся исаевская поэма, каждая ее строка, обращенная к народному уму и сердцу. Даже и тогда, когда, «обживая» ближние и дальние космические дали, человек шагнет на другие планеты, он «Земле помолится — не богу, земная вознесенная душа!».

Да, да, земле!
Той самой, с облаками,
Родимой той
И незабвенной той,
Где родники роднятся с рудниками,
А кровь-руда —
С рудничною рудой.
Ей,
            только ей! —
Воздастся полной мерой
В пределе том,
Неведомо каком,
За хлеб,
За соль,
За первый шаг,
За первый
Невнятный слог,
За слово с корешком,
За свет,
За мысль,
За тяжкий дар познанья,
Так высоко отшторивший зенит,

За вечный зов,
За берег ожиданья, —
За весь ее нетягостный магнит
Воздастся ей.

* * *

Поэма «Даль памяти» рождена нашим временем. Теперь, когда она после публикации в журнале «Москва» начала свою долгую жизнь, необходимость появления такой поэмы в наши дни становится особенно очевидной.

Все современно в поэме Егора Исаева, особенно же стремление автора показать, сколь накрепко жизнь каждого человека в обществе связана ныне более чем когда-либо с жизнью, судьбой своего народа, судьбой всего человечества.

Как ни прискорбно, но память человеческая иногда оказывается на редкость удивительно забывчивой и короткой. Казалось бы, после первой мировой войны, которая унесла уже тогда десятки миллионов человеческих жизней, люди во всех странах мира надолго запомнят страшный образ войны и сделают все, чтобы сохранить на земле мир. А что произошло на деле. Не прошло и двадцати лет, как вновь вся наша планета была объята кровавым пожаром второй мировой войны, развязанной фашистской Германией. Пятьдесят миллионов погибло в эту войну. А десятилетия «холодной войны» с невиданной в мире гонкой вооружений!

Всей своей поэмой «Даль памяти», как и предшествующей — «Суд памяти», Егор Исаев непримиримо, открыто выступает против всех и каждого, у кого, к сожалению, память оказалась весьма короткой, особенно тех, кто готов, не раздумывая, захлопнуть побыстрее свою «память на замок», чтобы она не тревожила совесть и «не мешала жить».

«Прошлым летом в разговоре о давно минувшем, — замечает Егор Исаев, — один мой земляк-фронтовик сказал так: «Хорошо, когда глаза видят, еще лучше, когда знают, а уже совсем хорошо, когда они еще и помнят».

Нынче очевидно, что Егор Исаев на далекое и близкое прошлое своей Родины, на окружающий его мир су-

мел поглядеть «глазами памяти». Ему это счастливо удалось, особенно в поэме «Даль памяти». Она вся, как вечный огонь, как наша вечная память, и вместе с тем она — как радость нашей жизни, радость нашего настоящего и будущего. Вся поэма — это предельная нравственная духовная чистота: и ее героев, и ее автора.

Прочитаешь поэму — и такое чувство, словно причастился к самому для тебя дорогому и светлому.

«Даль памяти» — добрая поэма. Сколько в ней сердечного тепла, сколько нескрываемого преклонения перед человеком, сколько неподдельной тревоги за его судьбу, сколько окрыленной веры в нравственную красоту его души.

Человечеству в прошлом, к великому сожалению, всегда не хватало нежности и доброты; избыток жестокости и зла веками омрачал нравственный климат нашей планеты. «Мир и братство народов» впервые принес на нашу планету Великий Октябрь. Старый буржуазный мир на свет и добро нового мира ответил бешеным приступом зла и насилия, звериным оскалом фашизма и расизма. Страшные, живучие микробы антидоброты, античеловечности и сегодня угрожают всему миру. Проникают они порой незримо и в нашу чистую духовную, нравственную атмосферу. Не отсюда ли нескрываемая, постоянная тревога Егора Исаева о том, а сколько у нас сегодня «на душу — души»?

По-государственному мудр взгляд автора «Дали памяти» на народную жизнь, на прошлое, настоящее и будущее своей Родины, всего человечества. В понятие государственности мы вкладываем не служебный официоз, а государственную мудрость, государственное мышление, государственные масштабы поэтического виденья жизни.

Когда-то Пушкин, выступающий против самодержавия, против царской государственной машины, вместе с тем, как никто другой, был государственно мыслящим поэтом и человеком, отстаивающим народные интересы. Лермонтов, Некрасов, Блок, Маяковский, Есенин мыслили в своих произведениях по-государственному масштабно, мудро, исторически точно. Не случайно ныне их книги — в каждой семье, каждом доме.

Убежден, что такая же счастливая судьба ожидает

и поэму Егора Исаева «Даль памяти» — поэму государственного звучания.

Все познается в сравнении. «Даль памяти» — это нагляднейшее свидетельство и подтверждение той истины, что наша современная поэзия, при всех своих просчетах и издержках, связанных зачастую с ее развитием и движением вперед — к человеку нового мира, — уже сегодня достигла многих, очень ярких идейно-художественных вершин. Новая поэма Егора Исаева, несомненно, одна из этих прекрасных вершин. Она рождена всей предшествующей историей нашей поэзии и, конечно же, ее сегодняшним днем, ибо хорошо известно — ничто не возникает на голом месте. Создавая свою поэму, Егор Исаев мог смело и надежно опираться на богатейший опыт, как классической, так и современной поэзии.

«Есть такие вершины, которые, сколько ни отходи от них, никогда не теряются из виду, — заметил как-то Егор Исаев. — Больше того, насколько отойдешь от них, настолько же они впереди. Надо только вглядеться, войти в цепь времен и почувствовать. Горы — они в тебе, в сердце твоем, в твоей повседневной памяти».

Так и поэма «Даль памяти». Она, как те вершины, о которых говорил Егор Исаев. После встречи с ней ее невозможно забыть, невозможно «потерять из виду». Она останется в памяти сердца надолго.

Таковы первые впечатления, первые раздумья, которые невольно рождаются при первой встрече с новой поэмой Егора Исаева, которой автор отдал почти десять лет напряженного труда. Отдал не зря.

Поэме «Даль памяти» уготовлено счастливое будущее: долгие-долгие годы быть нужной народу, как хлеб насущный...

ПАМЯТЬ ВЕКА

Для трех,
Для двух,
Для одного
Обиженного человека
Есть память лет...
А память века —
Для человечества всего.

Василий Федоров

21 мая 1962 года. Политехнический музей. В зале, который так хорошо известен любителям поэзии, где в свое время велись жаркие дискуссии о путях нового революционного искусства, где неоднократно читали свои стихи, спорили друг с другом Маяковский и Есенин, — выступает поэт Василий Федоров. Перед началом он заметно волнуется. Ведь это, по существу, его *первый* авторский вечер здесь, в этой прославленной аудитории. Будет ли народ? К тому же, как назло, после трех недель холода и дождей, выдался впервые теплый солнечный день. Многие москвичи потянулись к земле, на природу. А тут еще в Лужниках — матч с Бразилией, в Доме литераторов — устный выпуск альманаха «День поэзии»...

Волнуюсь и я. Мне предстоит открыть вечер словом о поэте, а затем вести его вместе с автором.

Постепенно зал заполняется. Много молодежи. Чувствуется, пришли на встречу с поэтом, стихи которого им дороги и близки. У некоторых в руках книги Василия Федорова. С какой сердечной отдачей слушали они поэта!

Василий Дмитриевич начал свое выступление, как бы полемизируя со мной, а по сути дела, продолжая мой разговор о трагизме и оптимистичности его творчества.

— Здесь Юрий Львович говорил о том, что в моем творчестве, в моих поэмах много трагического. Это верно. Но я хотел бы подчеркнуть другое. Когда в Риме на площади с таким поэтическим названием: «Площадь цветов»—сжигали на костре Джордано Бруно, человече-

ство не остановилось перед силами мракобесия, жизнь продолжалась; когда в Париже расстреливали коммунаров, опять-таки это не остановило борьбу человечества за свободу. Когда гибли герои революции 1905 года на баррикадах, когда лучшие сыны России шли на каторгу в Сибирь, все равно и тогда народ не смирился с царизмом. Он верил в победу революции, верил, что мир может быть прекрасным и совершенным. Не потеряли люди веру в будущее и тогда, когда на полях сражений первой мировой войны гибли миллионы. Ни войны, ни атомные бомбы не могут убить этой веры человека в будущее. Я в этом глубоко убежден. Это моя гражданская позиция как поэта, моя вера, вера в человека, в прекрасное и лучшее в нем. Отсюда при всей трагедийности и драматизме моих стихов я считаю свое творчество оптимистическим, а судьбу моих героев при всех трагических изломах их жизни, при всех драматических ситуациях, в которых они у меня порой оказываются, — светлой и прекрасной. При этом хочу еще раз заметить, — подчеркивает Василий Федоров, — прекрасное не может родиться без трагических и драматических конфликтов. Мы живем в трагедийное время, в самый разгар борьбы нового со старым... Сознание трагедии не унижает, а возвышает человека.

Позвольте мне прочитать теперь стихотворение, которое, как представляется, имеет прямое отношение к вопросу о трагическом и оптимистическом в поэзии, и главное — в жизни:

Не удивляйся,
Что умрешь.
Дивись тому,
Что ты живешь.

Дивись тому,
Что к сердцу близко
Однажды ночью голубой
Горячая упала искра
И стала на земле тобой.

Не скифом
И не печенегом,
Минуя сотни скорбных вех,
Ты сразу гордым человеком
Явился

В наш двадцатый век.
. . . .
В любви,
В крови,
В огне боренья,
Со славой тех, кто первым пал,
Сменялись,
Гибли поколенья
За это все, что ты застал.

Все чудо:
Солнце, весны, зимы,
И звезды, и трава, и лес.
Все чудо!
И глаза любимой —
Две тайны
Двух земных чудес.

В зале стояла напряженная тишина. Было такое чувство, словно испил ты в эти неповторимые мгновенья глоток *живой воды* и причастился к чему-то необыкновенно светлому и прекрасному. Все мелочное, суетное отходило постепенно куда-то в небытие. По-иному начинала видеться казавшаяся еще совсем недавно неразрешимой, особенно в минуты душевного одиночества, трагическая коллизия жизни и смерти. Все больше и больше душа наполнялась благодарностью к матери-природе, которая столь щедро дарует людям вечно высочайшее благо — жизнь:

Да будь я камнем от рожденья,
Я б в жажде все одолевать
Прошел все муки превращенья,
Чтоб только
Человеком стать.
Не удивляйся,
Что умрешь,
Дивись тому,
Что ты живешь.

Да! Истинная поэзия — всегда чудо, всегда великое таинство, которое ни объяснить, ни понять умом до конца невозможно.

* * *

Более пятнадцати лет прошло с того памятного вечера в Политехническом музее. Срок немалый! Многое изменилось в нашей поэзии, многое «на расстоянье» ви-

дится в ней по-иному. Мы встречаемся и с новыми именами, которые за это время вышли и утвердились на поэтической орбите; встречаемся вновь с еще большей радостью души и сердца и с теми поэтами, чье творчество с годами становилось все весомее и зримее.

Наконец, в эти же годы мы были свидетелями и такой внешне довольно броско-крикливой, а по существу, мало что значащей для истинной поэзии стороны ее развития, как сенсационные взлеты и падения шумных «гениев» литературной эстрады.

Что же касается самого Василия Федорова, то можно сказать без преувеличения: его новые стихи и поэмы, из которых складывались его новые книги — «Третьи петухи», «Седьмое небо», «Книга любви», «Второй огонь», «Книга любви и веры», «Как цветы на заре», — *все больше и больше в эти годы определяли глубинное течение всей нашей поэзии,* стрежень ее мысли, ее партийный накал, новаторский художественный поиск, ее гражданский пафос и народность.

Все эти годы Василий Федоров, пристально вглядываясь в лицо своего века, шел навстречу его тревогам и бурям, его грандиозным земным и космическим свершениям, раскрывая в образной плоти своих новаторских книг главную правду эпохи, показывая и великую историческую миссию своей Родины, и те колоссальные трудности, которые всегда ложатся в мире на плечи первопроходцев:

Наше время такое:
Живем от борьбы
До борьбы.
Мы не знаем покоя —
То в поту,
То в крови наши лбы.

Ну а если
Нам до ста
Не придется дожить,
Значит, было непросто
В мире
Первыми быть.

Всегда была и будет по-настоящему трагедийна, а значит, и глубоко правдива, гуманна, патриотична та литература, которая стремится к философскому осмыслению коренных социальных и нравственных конфлик-

тов своей эпохи, к показу судьбы народной и судьбы человеческой, к раскрытию святого чувства любви и верности матери-Родине:

С тех пор,
Как тобою поклялся,
С тех дней,
Как я принял твой путь,
Всю жизнь я,
Отчизна, боялся
В надеждах
Тебя обмануть.

Трагедия — это всегда высшая правда в искусстве и жизни, высший взлет человеческого духа, высшая народность.

Такова трагедийность «Слова о полку Игореве», трагедийность «Бориса Годунова» и «Медного всадника» Пушкина, «Демона» и «Песни про купца Калашникова» Лермонтова, трагедийность «Русских женщин» и «Железной дороги» Некрасова, «На поле Куликовом» и «Двенадцати» Блока; такова трагедийность «Облака в штанах» и «Хорошо!» Маяковского, «Черного человека» и «Анны Снегиной» Есенина.

Трагедийность действительности диктует и меру личной ответственности художника перед своим временем, своим народом:

Поэт не может быть счастливым
В тревожные для мира дни.
Беря пророческую лиру,
Одно он помнит
Из всего, —
Что все несовершенства мира
Лежат на совести его.

Василий Федоров отлично осознает, что «не всякое нагнетание ужасов есть трагедия». Останавливаясь «на понятии *трагического* в жизни и литературе», он неоднократно отмечал, что «не надо пугаться грустных, а порой и трагических стихов. Трагедия — удел лучших, передовых. Она не помешает нашему оптимизму. Мы оптимисты, ибо мыслим исторически».

Поэт настойчиво подчеркивает в своих выступлениях, что «наш оптимизм имеет классовую природу, ибо

продвижение человечества вперед всегда было борьбой против угнетения и мракобесия. В мире идет самая ожесточенная классовая борьба».

* * *

Василий Федоров постоянно, неудержимо и смело бросает себя в самый крутой водоворот жизни, сам открыто идет навстречу «святой трагедии века», как высшей истине, «добыча» которой и есть для него самый главный смысл его творчества, его бытия:

Ты, критик,
Как бы мы ни пели,
Не говори, впадая в страх,
Что наши песни не созрели
Судить о горьких временах.
И не советуй нашим лирам,
Воспевшим честные бои,
Отдать трагедии свои
Иным вѐкам,
Иным Шекспирам.

Над нами, говоришь, не каплет,
Повергнут, говоришь, Макбет...
Но жив народ — извечный Гамлет.
Быть иль не быть?
Подай ответ.

Так напряженно и взрывчато начинает Василий Федоров главу «Память века» — одну из вершинных в его поэме «Седьмое небо».

Такой взгляд на мир, на явления действительности, на ключевые, узловые события истории своего народа, своей Родины, наконец, такое прозрение будущего человечества, вплоть до тех грядущих времен, когда люди планеты Земля, возможно, встретятся во вселенной с обитателями иных миров (вспомним хотя бы главу «Земля и Вега» в той же поэме «Седьмое небо») — наполняют поэзию Василия Федорова истинным драматизмом и трагедийностью и вместе с тем истинной верой в человека нового мира, в могущество его духа и плоти.

Все это порождает высочайшее эмоциональное напряжение поэзии Василия Федорова, масштабность мыс-

ли и объемность ее содержания: отсюда, я бы сказал, глобальность творчества Федорова и вместе с тем ярко выраженная в его поэзии любовь к Родине и ненависть, презрение к ее врагам:

О, Русь моя!..
Огонь и дым.
Законы вкривь и вкось.
О, сколько именем твоим
Страдальческим клялось...

Народ,
Извечный, как земля,
Кто б ни играл судьбой,
Все вековые векселя
Оплачены тобой.
Не подомнет тебя напасть,
Не пошатнешься ты,
Пока над властью
Будет власть
Твоей земной мечты.

* * *

Со своими неустанными думами о судьбах Родины, о «земной» и «вечной» красоте, о нашем прекрасном и тревожном веке, об атомной трагедии человечества и судьбах мира, о бессмертном подвиге советского народа в годы войны с фашизмом поэту тесно в строках лирического стихотворения. *Василий Федоров блестящий и признанный мастер поэм, выдающийся художник ярко выраженного эпического склада.* В каждой из поэм он выступает как суровый реалист и вдохновенный романтик. Мысль в его поэмах сжата, сконденсирована в емкие афористические образы, она как могучая космическая ракета, стремительно увлекает нас, читателей, в вечно новый мир прекрасного, мир мудрости и красоты человеческого духа. Уже ранние поэмы Василия Федорова, такие, как «Лирическая трилогия», «Марьевская летопись», «За рекой ключевой», «Ленинский подарок», «Далекая», «Обида», «Первые слезы», «Белая Роща», «Золотая жила», «Дуся Ковальчук», написанные более двадцати-тридцати лет тому назад, — все они в той или иной степени, несут неповторимо-своеобразные черты его поэзии. Это ярко выраженное в них *федоровское нача-*

ло и делает их сегодня в высшей степени близкими нашему времени. Полагаю, что не случайно и сам поэт не однажды замечал, что в ранних его поэмах, особенно в «Далекой», уже были заложены «зерна» почти всех его будущих крупных вещей, включая «Седьмое небо» и «Женитьбу Дон-Жуана».

Во всех ранних поэмах Федорова, казалось бы, далекое теперь от нас время, далекие от наших дней герои. И вместе с тем все они глубоко современны, все выдержали испытанье временем.

Пример тому, яркий и поучительный, одна из лучших поэм Василия Федорова — «Проданная Венера». Впервые Василий Федоров напечатал ее в 1956 году, в то время, когда кое-кого из наших литераторов основательно покачивали западные ревизионистские ветры, когда некоторые наши писатели не смогли сразу осознать всей сути исторических решений XX съезда нашей партии, иные, явно растерявшись перед сложными и противоречивыми явлениями действительности, стали изображать ее однобоко, лишь одними черными красками.

В отличие от таких «правдоискателей» в поэме «Проданная Венера» Василий Федоров раскрывает перед нами, особенно в образе главной героини Наташи Граевой, моральные, нравственные истоки нашей победы над фашизмом. При этом поэт далек от ложной красивости. Голос его звучит сурово, мужественно, тревожно. Поэт как бы хочет сказать читателям: не забывайте! Помните всегда! Все, что мы утвердили на земле нашей Родины, — все это результат титанических усилий народа. Ради светлого будущего шел наш народ на великие жертвы и лишения; шел сознательно, с величайшей гордостью за свою социалистическую Родину:

Судьбу,
Сгибающую лучших,
Мы не берем за горло:
«Стой!»

За красоту
Людей живущих,
За красоту времен грядущих
Мы заплатили красотой.

Заплатили щедро, от всего сердца, самым дорогим! Не слишком ли высока цена победы? И да и нет. Сама героическая судьба Наташи Граевой, судьба народа в Отечественной войне — это великий подвиг, а «подвиг — стоит красоты». Такова мудрая диалектика жизни, точно «схваченная» поэтом и запечатленная в прекрасных образах «Проданной Венеры».

* * *

Из книг, выпущенных Василием Федоровым после «Проданной Венеры», следует прежде всего сказать особо о сборнике «Третьи петухи», имеющем принципиальное значение для всей нашей поэзии. Это, пожалуй, самая обнаженная, самая тревожная книга Василия Федорова, каждая строка которой звучит как набат, обращенный к разуму человека:

Да Винчи говорил:
Когда вы захотите
Какой-нибудь реке
Дать новый,
Лучший путь,
Вы как бы
У самой реки спросите,
Куда б она сама
Хотела повернуть.

Мысль Леонардо!
Обновись, и шествуй,
И вечно торжествуй
На родине моей.
Природа и сама
Стремится
К совершенству.
Не мучайте ее,
А помогайте ей!

Не мучайте, а помогайте, иначе в будущем произойдет самое страшное и непоправимое: не только окончательно разрушится гармония красоты природы, но в конце концов, может погибнуть и само человечество. Мысль эта с особой полемической заостренностью выражена поэтом в его стихотворении «Пророчество»:

Меня охватывает дрожь,
Когда смотрю

В провал заклятый.
О человечество,
Куда ты,
Куда ты, милое,
Идешь?

. . . .

Земли
Не вечна благодать,
Когда далекого потомка
Ты пустишь по миру
С котомкой,
Ей будет
Нечего подать.

Впервые в нашей поэзии с такой обжигающей душу правдой и гражданской бескомпромиссностью говорилось об одной из острейших и злободневнейших проблем нашего века; говорилось до принятия исторических законов об охране природы нашим социалистическим государством, до того, как наиболее дальновидные умы человечества начали объединять свои усилия, чтобы сохранить природу нашей планеты.

Василий Федоров и в оценке своих отдельных поступков, и в отношении к своим стихам и поэмам, и во взглядах на всю свою жизнь в высшей степени требователен к себе, а порой и беспощаден к себе в стихах, как Есенин. Характерно в этом отношении его стихотворение «Совесть», которое открывает книгу «Третьи петухи». Приведем здесь некоторые его строки:

Через тысячи верст,
Через реки,
Откосы и рвы
Моя мама идет,
Из могилы восставши,
До Москвы,
До косматой моей головы.
Под веселый шумок
На ладони упавшей.

. . . .

Что ты, мама?
Зачем ты надела
Тот старый пиджак?
Ах, не то говорю!
Раз из тьмы непроглядной
Вышла ты,
Значит, делаю что-то не так,
Значит, что-то
Со мною неладно.

Счастья нет,
Да и что оно!
Мне бы хватило его,
Порасчетливей будь я
Да будь терпеливей.
Горько мне оттого,
Что еще никого
На земле я
Не сделал
Счастливей.

«Третьи петухи» — книга высокого драматизма души поэта. Это *одна из самых добрых и по-есенински совестливых книг Василия Федорова.* Да, пожалуй, не только его, а всей нашей современной поэзии. Она, по сути дела, обращена к разуму и совести каждого из нас — соотечественников поэта; она побуждает каждого из нас заглянуть самокритично в свою душу, посмотреть на себя, свое поведение, свое отношение к людям, особенно тебе родным и близким, с которыми ты живешь и трудишься, к природе, окружающей тебя, — посмотреть как бы со стороны. Одним словом, стать для себя своим высшим нравственным судом — судом совести. Поэт буквально с первых страниц книги «заражает» читателя обнаженной открытостью души, ранимостью и почти детской незащищенностью ее от сил зла, которых в современном мире, к сожалению, более чем предостаточно.

Из ночи́,
Из тьмы,
Как из берлоги,
Лезет нечисть
Отживших веков.
Я боюсь устать,
Упасть в дороге,
Не дождавшись
Третьих петухов.
. . . .
Как же
Перед нечистью
Не сдаться,
Не чертя
Спасительных кругов,
Как же мне
Не уступив,
Дождаться
Предрассветных
Третьих петухов?

Никого не сделал счастливей! Ни одного человека! Не перегибает ли поэт палку? Не слишком ли строго себя судит? Нет ли здесь «позы», словесной игры в «трагическое» — и не больше, с чем, к сожалению, приходится сталкиваться в иных стихах других поэтов? Нет! Все это горькая правда, все это глубоко и серьезно. В этом нас прежде всего убеждают сами стихи:

Никого!
А ведь сердце
Веселое миру я нес,
И душой не кривил,
И ходил только прямо.
Ну а если я мир
Не избавил от слез,
Не избавил родных,
То зачем же я,
Мама?..

А стихи?..
Что стихи?!
Нынче многие
Пишут стихи,
Пишут слишком легко,
Пишут слишком уж складно...

Когда совесть спит в душе поэта, когда она не тревожит ни его ум, ни сердце, тогда-то и пишутся стихи «легко» и «складно». Правда, такие стихи как фальшивая монета. Они никому не нужны.

Истинная поэзия — всегда беспокойная, тревожная совесть.

Вспомним Александра Блока: «И вечный бой! Покой нам только снится».

Вспомним Сергея Есенина: «С того и мучаюсь, что не пойму: куда несет нас рок событий!»

«Мне с жизнью моею была вручена святая трагедия века», — с пониманием, чувством высочайшей *личной* ответственности за судьбы людские, за будущее своей Родины и всего человечества пишет в стихотворении «Лицо века» Василий Федоров. Он же в одном из своих выступлений говорит: «Поэт — нервный центр мира, всякие, даже далекие радости и боли отзываются в нем».

В высшей степени закономерно и естественно для такого поэта, как Василий Федоров, что свое стихотворе-

ние «Совесть» он завершает строфой, которая, как и сама жизнь поэта, нацелена в наш день, в будущее:

Упадет голова —
Не на плаху,
На тихую грусть...
И пока отшумят,
Отгалдят,
Отвздыхают,
Нагрущусь,
Настыжусь,
Во весь рост поднимусь,
Отряхнусь
И опять зашагаю.

«Третьи петухи» наглядно убеждают нас в непреложной истине: трагическое доступно лишь перу такого художника, сердцу которого доступны надежда и вера, чьи трагические картины постоянно пробуждают ощущение рассвета.

Из борьбы,
Из сутолоки вечной,
Весь в крови, в поту,
Едва дыша,
Человек выходит человечней,
И душевнее его душа.

Трагическое в искусстве требует от художника высочайшей самоотдачи его души и сердца; требует мастерства, а значит, творческой свободы, полной раскованности и полного овладения тем жизненным материалом, который положен в основу данной вещи.

Все это должно совершаться ради главного — человека, раскрытия диалектики его души. По справедливому замечанию Василия Федорова: «В любом искусстве все начинается с человека и кончается человеком. Человек меняется. И для меня новатор тот, кто наиболее точно и полно изобразит его душевный мир».

* * *

В 1964 году выходит еще одна примечательная книга Василия Федорова. Это теперь широкоизвестная «Книга любви». В то время, особенно после повторного издания в 1961 году в «Молодой гвардии»

отличной федоровской книги поэм «Белая Роща», и у критики, и у иных читателей стали отходить явно на второй план лирические стихи поэта. Зная, что таких стихов, и опубликованных, и еще больше неопубликованных, много, я однажды заметил Василию Дмитриевичу: не настала ли пора издать их отдельной книгой, особенно его стихи о любви?

— А что, это и в самом деле прелюбопытно выпустить отдельно такую книгу. Вероятно, ты прав, — заметил Федоров.

До сих пор тешу себя надеждой, что тогдашние наши встречи и беседы, во время которых мы горячо спорили и обсуждали с Василием Дмитриевичем и состав его будущей книги лирики, и содержание каждой из ее частей, общую композицию, и, наконец, название сборника, — все это в чем-то помогло ему, когда он окончательно складывал и готовил к изданию «Книгу любви». Возможно, поэтому через некоторое время Василий Дмитриевич попросил меня для «Библиотеки избранной лирики» «Молодой гвардии» составить сборник его стихов, что я и сделал с большой радостью. Он вышел в 1968 году. «Я давно знаю и люблю этого поэта, — писал я тогда в кратком слове «От составителя». — Его стихи и поэмы по силе драматизма, образности, эмоциональной напряженности более всего созвучны эпическому дыханию шолоховской прозы».

Возвращаясь к «Книге любви», хочу заметить, что все, кто в те годы читал и хорошо знал поэмы Василия Федорова, будь то «Далекая» или «Обида», «Золотая жила» или «Проданная Венера», «Бетховен» или «Седьмое небо», ждали этой книги. Она должна была появиться у писателя, страстно мечтающего раскрыть в стихах «все виды красоты».

Цельность натуры, искренность чувств, романтика постоянства, настойчивый поиск любви, делающий жизнь прекрасной, неприятие всего мещанского, что убивает, калечит любовь, — таковы некоторые отличительные черты лирического героя «Книги любви». Он ведет с вами удивительно откровенный и душевный разговор. Ничего не тая, без тени рисовки, он рассказывает о первой любви, светлой, как родник, об играх и утратах, верности и памяти любви, о том, как порой

ярко и неожиданно любовь горит вторым огнем. Он прост и мудр, как сама жизнь:

По главной сути
Жизнь проста:
Ее уста,
Его уста...

Она проста
По доброй сути,
Пусть только грудь
Прильнет ко груди.

Весь смысл ее
И мудр и прост,
Как стебелька
Весенний рост.

А кровь солдат?
А боль солдатки?
А стронций
В куще облаков?

То все ошибки,
Все накладки
И заблуждения
Веков.

А жизни суть,
Она проста:
Ее уста...
Его уста...

Слушая исповедь нежного и мужественного сердца, полного доброты к людям, вы начинаете чувствовать, как светлеет у вас на душе, окружающий мир приобретает новые очертания и краски. «По тому, как людям любится, здоровье мира узнают», — справедливо замечает поэт.

* * *

Человек нового, социалистического мира предстает в поэзии Василия Федорова в своей неповторимой духовной, нравственной красоте. «Чем ближе будем мы к коммунизму, — говорил в одном из своих выступлений Василий Федоров, — тем больше будет расти интерес к человеку. Если политические и экономические идеалы будущего общества нами уже сформулированы, то идеалы красоты, идеалы нравственные, морально-этические

еще требуют разработки. Поэтому-то теперь особенно важен анализ человеческих отношений».

Для Василия Федорова эта задача номер один всей нашей современной многонациональной литературы *всегда* была главной и определяющей в его творчестве. Он решал ее, начиная со своих ранних стихов и поэм, каждый раз на конкретном жизненном материале, опираясь как на свой личный художественный опыт, так и на опыт, традиции современной литературы и классики.

Василий Федоров остается верен принципу конкретного художественного анализа человеческих отношений в процессе становления и развития социалистического общества, его морали и нравственности, и в только что завершенной им «иронической поэме в семи песнях» — «Женитьбе Дон-Жуана».

Уже в названии поэмы и, конечно же, в ее сюжете: женитьбе классического героя, который никогда не стремился к женитьбе, заложена парадоксальная идея, которая получает свое не менее парадоксальное, но вместе с тем реальное художественное воплощение.

В поисках подлинных ценностей жизни классический Дон-Жуан в поэме Василия Федорова в условиях нашего века и нашей страны приходит именно к такой любви, которая не мыслится им без семьи. На этом пути по ходу разворачивающихся событий он встречает множество препятствий: одни заложены в нем, как своеобразные пережитки прошлого, другие — внешние, сопутствующие ему уже в условиях его личной жизни, личного поведения.

Главное для автора поэмы — показать нам, читателям, и убедить нас в том, что путь Дон-Жуана к настоящей любви — это путь к человечности, путь к счастью и правде жизни, ее главному смыслу:

Нам не дано самим изобрести
Свой легкий путь,
Свою любовь и нежность.
К трагедии приводит неизбежность,
А к драме может случай привести,
Хотя и случай, будучи нечаянным,
В ряду других
Бывает не случайным.

Что мне сказать,
Тоской не бременя,
Когда о счастье спросите меня?
Скажу вам, склонный
К прежнему пристрастью:
Большое счастье — это, на мой взгляд,
Не только сам конечный результат,
Но и дорога, что вела нас к счастью.
И пусть никто из нас не забывает,
Что в чистом виде
Счастья не бывает.

Пожалуй, еще никогда в мире не стояла столь остро, как ныне, проблема нравственного, морального воспитания человека, никогда еще не выступали столь зримо, как в наши дни, две противоборствующие, взаимоисключающие концепции человека. Одна из них была давно рождена в недрах старого буржуазного миропорядка. Другая — социалистической действительностью.

Новая поэма Василия Федорова, по сути дела, высокохудожественными средствами показывает торжество социалистической концепции человека, его морали и нравственности.

И что особенно хотелось бы подчеркнуть: «Женитьба Дон-Жуана» — поэзия самого высокого класса! Сколько в ней веселого, доброго юмора, сколько по-хорошему мудрой и временами злой сатиры. И главное, у Федорова — все свое и вместе с тем все — в блестящих пушкинско-некрасовских традициях. А язык поэмы! Что ни строфа, то афоризм, который так и просится в пословицу или поговорку.

«Мировой державе — нужны мировые сюжеты», — как-то заметил в беседе Василий Федоров. Его новая поэма блистательно решает эту задачу.

В «Женитьбе Дон-Жуана» перед нами художник, который никогда не успокаивается на достигнутом, никогда не повторяет себя. Для него поэзия *всегда* — действительно езда в незнаемое, сопряженная *всегда* с огромным расходом эмоциональной энергии и творческим риском. При этом Василий Федоров глубоко убежден, что «поэт волен выбирать себе любые темы, но в одном он не волен — работать во зло народу, в помеху его движению к счастью, к социальной справедливости, на пути к которой еще так много помех. Мы обязаны

определить свое место в общей борьбе не из послушания, а из нравственной дисциплины. Гражданственность всегда предполагает народность». И далее, обращаясь к ревнителям и «защитникам» свободы, в странах Западной Европы и США, Василий Федоров дает им достойную отповедь, как поэт и гражданин: «Нас все время хотят поссорить с нашей партией, с нашим правительством, внушая нам соблазнительную мысль о полной независимости поэта. А мы и так... независимы, потому что сами определили свое место на великой стройке коммунистического общества».

* * *

Все очевидней ныне та истина, что Василий Федоров крупнейший поэт наших дней, выдающийся мастер русского стиха, который своим творчеством приумножает и обогащает великое наследие русской классической и советской поэзии.

Поэмы и стихи Василия Федорова надолго, если не навсегда, останутся в нашей памяти, в наших сердцах. Они, как память века, о которой поэт сказал так проницательно-мудро:

Для трех,
Для двух,
Для одного
Обиженного человека
Есть память лет...
А память века —
Для человечества всего.

Москва — Ялта — Дубулты
1974—1978 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 1415

Юрий Львович Прокушев
ДАЛЬ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Редактор **Г. Рой**
Художник **В. Вагин**
Художественный редактор **В. Кухарук**
Технический редактор **Р. Сиголаева**
Корректоры **В. Назарова, Е. Самолётова**

Сдано в набор 4/I 1978 г. Подписано к печати 31/VIII 1978 г. А05970. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ. л. 8,5 (усл. 14,28). Уч.-изд. л. 12,7. Тираж 100 000 экз. Цена 75 коп. Б. З. 1977 г., № 105, п. 026. Заказ 1852.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.